

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

ПОЛЫННАЯ
ГОРЕЧЬ
ЧУЖБИНЫ



СОВРЕМЕННАЯ
ПРОЗА

Современная проза (Четыре Четверти)

Елена Пустовойтова

Полынная горечь чужбины

«Четыре четверти»

2025

УДК 821.161.1(476)-3
ББК 84(4Бей=Рус)6-44

Пустовойтова Е. А.

Полынная горечь чужбины / Е. А. Пустовойтова — «Четыре четверти», 2025 — (Современная проза (Четыре Четверти))

ISBN 978-985-581-769-8

Для героини романа «Полынная горечь чужбины» Анны эмиграция в Китай стала тяжелым испытанием. Покинув Россию не в поисках счастья или богатства, а для спасения жизни во время Гражданской войны, она вынуждена заново обрести себя. Привычный мир остается в прошлом, а дальше ждут неутолимая тоска по Родине и одиночество. Мимолетная любовь с французом Лео рушится с началом Второй мировой войны и японской оккупацией Шанхая, брак с американцем не выдерживает испытаний, радость от встречи с сестрой длится недолго... Параллельно звучат истории других изгнанников: герой повести «Попугай» невропатолог Валера, притворившись инвалидом, ищет легкую жизнь в далекой Австралии, а героиня «Клинера» Ольга, отказавшись от покупки жениха как надежного пропуска в другую страну, возвращает собственное достоинство. Эта книга о людях, познавших истинную цену эмиграции, оказавшись под чужим небом.

УДК 821.161.1(476)-3
ББК 84(4Бей=Рус)6-44

ISBN 978-985-581-769-8

© Пустовойтова Е. А., 2025
© Четыре четверти, 2025

Содержание

Полынная горечь чужбины	6
Драгоценка	6
Покос	12
Девушка для танцев	24
Джон	29
Консульство	36
Свадьба	43
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Елена Пустовойтова

Полынная горечь чужбины

© Пустовойтова Е. А., 2025

© ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2025

Полынная горечь чужбины

Роман

Драгоценка

Идти по узким, душно-тесным и оттого казавшимся особенно опасными, даже коварными улочкам ей было тяжело из-за накатывающего волнами желания убежать прочь.

Но куда?

А мысль, что теперь они каждый день должны будут здесь пробираться, и вовсе была невыносимой. Родители шли чуть впереди, и всякий раз, когда она в своем безотчетном желании убежать незаметно для себя ускоряла шаг и натыкалась на них, мать, чуть оборачиваясь, говорила через плечо тихим, спокойным, чересчур спокойным голосом:

– Не спеши так, дорогая...

Китайцы, не прерывая своих занятий, слегка сторонились, давая пройти, продолжая стирать, развешивать белье, ужинать, сидя на корточках спиной к стене, шумно втягивая в себя еду и беззастенчиво разглядывая их, успевая при этом, словно нарочно, звонко шмыгать носом. Чужой говор, чужой быт и чужой запах так плотно обступили их, что заставляли поневоле втягивать голову в плечи.

Во французском районе Шанхая, где в большинстве своем селились русские беженцы, снять жилье Александровым было не по карману. Хватало только на комнату в густонаселенном районе китайской бедноты, и теперь всех угнетала мысль, как без провожатого они смогут одолевать этот путь, не заплутав навсегда в бесконечном лабиринте шумных тесных улочек.

Словно угадав их опасения, агент приостановился:

– Эта раёна оченя... – замешкался, подбирая слово, но тут же улыбнулся, подняв вверх в знак своей находчивости указательный палец. – Скучно! Ночам мадама опасна одна ходя...

– Скучный? – переспросила мать, оглядываясь вокруг. – Какой угодно, но только не скучный...

– Он, верно, имел в виду, что никто сюда за хорошим расположением духа не является... – вполголоса, словно беспокоясь, чтобы никто из окружающих его не расслышал, пояснил отец.

– Я имеа сказял, что здеся никто ни ходилия без нюжда. Нюжда – это скучно, нет красиво... Поняля, что хотела я говорить?

– Где уж не понять... – вздохнула мать, пропуская вперед себя Анну, ободряюще при этом коснувшись ее плеча.

* * *

Лабиринту улочек, пугающих мельтешением чужих лиц, звуков и запахов, вскоре наступил конец. Показывая в широкой улыбке розовость десен, китаец подвел их к стоявшему на сваях каменному дому, опоясанному деревянными террасами. Игравшая возле дома в круглые белые камешки босоногая детвора прекратила возникшую было между ними потасовку и, как стая птиц, ничем не обремененных, кинулась чуть ли не под ноги пришедшим. Галдя и заглядывая в глаза, все как по команде вытянули ладошки в надежде на подаяние, при этом передразнивая друг друга. Агент прикрикнул на них, для острастки замахнувшись зонтом, и детвора, не переставая галдеть и тянуть руки, послушно отодвинулась, освобождая проход к крыльцу под почернелым от времени обвисшим навесом.

Комната напоминала собой подобие веранды из-за большого окна, разлинованного рамой на частые квадраты, в которое по-хозяйски заглядывало клонившееся к горизонту солнце. Его оранжевые лучи ярко высвечивали на темном полу натоптыши засалившейся от времени грязи, паутину в темных углах и горку высохших мух на узком пыльном подоконнике.

– Ну, не так плохо, как можно было предположить... – наигранно весело подвел итог увиденному отец, подойдя к окну и разглядывая за ним китайку в свободного покроя кофте и коротких, по щиколотку, штанишках, вылившую из таза мыльную воду прямо под ноги спущенной вокруг нее детворе. Мать тоже подошла к окну и так же пристально стала всматриваться во что-то за стеклом, словно силясь припомнить нечто важное, да так и замерла, прижимая к груди ридикюль. Анна смотрела на них, мучительно ожидая фразы, которую отец произносил всякий раз, когда они попадали в совершеннейший тупик обстоятельств, из которых он не видел выхода: «Однако мы живы...»

Но отец молчал, продолжая неотрывно вглядываться во что-то за окном, легонько приобняв мать за плечи.

Молчание родителей, как ни странно, приободрило Анну. Да и закрытая на хлипкий крючок дверь комнаты дала передышку, отсекая давивший на плечи страх, который оседлал ее в лабиринте пропитанных запахом кунжутного масла улочек. Девушка поставила забытый отцом у порога саквояж на крашенную зеленой краской кровать со скрученным в тугую рулет грязным тюфяком в изголовье. Стуча каблучками, обошла комнату и громко, словно проверяя эхо, сказала с необыкновенной выразительностью:

– Но, однако, мы живы.

Шанхай. Этот город еще в России был намечен важной целью их пути к Европе. В этом городе спасались русские, бесчисленно бежавшие за пределы своей когда-то богатой и великой Родины, бежавшие не в поисках счастья или богатства, а ради спасения самой жизни. Вот и они здесь. И не было ничего даже сколь-нибудь радостного в этом. Только уныние и огромная усталость. Добрели...

* * *

...Ей сразу понравилось его лицо со светлой, даже на взгляд шелковистой бородкой. Глаза, веселые, с яркой в их глубине искринкой, сразу расположили к себе Анну. Он смотрел на нее не прямо, в открытую, а время от времени вглядываясь, словно видел что-то необыкновенное, яркое, отчего было необходимо отвести, спрятать глаза, чтобы дать им роздых. И от этих полутайных взглядов Анне стало радостно и покойно. Всякое мгновение ожидавшая беды, она разом перестала вслушиваться в шорохи и звуки, за которыми таился, словно душераздирающий ночной крик, ее страх. И каждой клеточкой своего тела почувствовала, как сильно устала и как невыносимо хочет спать...

В это село в маньчжурском Трёхречье с красивым названием Драгоценка, с его широкими прямыми улицами, с деревянными, рублеными, крытыми тесом и дранкой домами, с обязательными палисадниками под окнами, они добирались целую вечность. Еще в Омске нужные люди передали, что ушедшие семьями за кордон забайкальские казаки обжились и беглецов принимают. Фамилии называли. Но к тому времени границу закрыли и сыскать в провожатые рискованных людей стало непросто. Да и самих провожатых тоже нужно было опасаться – доведут ли, не стрелнут ли где-либо в кустах, забрав то, что еще можно забрать? Однако и сами их скитания по разоренной стране, по которой в революционной лихорадке перекачывались с места на место вооруженные разномастные толпы от анархистов до простых уголовников, таили в себе не менее смертельную опасность и не оставляли выбора. От села к селу пробирались они к заветному месту, откуда еще переправляли в Китай, покорно выслушивая наставления старожил, и, наконец, за сережки с бирюзой сговорились о переходе.

Молодой парень с винтовкой за плечами всякий раз, когда Анна, движимая чувством опасности, оборачивалась на него, не меняя застывшего выражения глаз, щерил зубы в какой-то слюнявой улыбке. Мать старательно заслоняла ее собой, но проводник всякий раз, хлопая широкими голенищами сапог, короткими перебежками вновь упрямо втискивался между ними, продолжая тяжело глядеть ей в затылок. Она уже начала готовиться к самому страшному, как вдруг пожилой провожатый, шедший впереди, тихим посвистом позвал к себе напарника. Тот встрепенулся, взял винтовку наизготовку и, споро хлопая голенищами, поспешил к нему, по пути, словно нечаянно, боком толкнув Анну.

Темнота быстро таяла, и в утренних серых сумерках было хорошо видно, что парень что-то шепчет, припав к уху пожилого, на что-то уговаривая. Тот не соглашался, глядя в сторону и упрямо покачивая головой. И молодчик, в сердцах ткнув прикладом землю, с волчьей тоской, напоследок оглянувшись на Анну, растворился, словно растаял, в плотном предутреннем тумане, из которого почти сразу им навстречу вынырнул старый бурят. Пожилой жестом подзывал застывших в ожидании своей участи отца с матерью к себе и, указывая на бурята, строго сказал:

– Плата за переправу через Аргунь отдельной статьей идет, уговор у меня был с вами доставить вас до этого месту...

И добавил уже мягче, покаянней:

– Уговаривайтесь без страха – довезет. Сколько нынче народу образ Божий потеряло, хуже всяких людоедов стали, а за этого ручаюсь...

И так же как парень с хлопаящими голенищами сапог, исчез в предутренней мгле, махнув на прощание рукой. Но страх от ночного перехода через тайгу, от замороженно-тяжелого взгляда молодца с винтовкой еще долго не отпускал Анну, заставляя вздрагивать от малейшего дуновения ветерка и самого слабого шороха. До того самого мгновения, когда встретились с Гордеем глазами.

За миг до того, как обвалиться в тяжелый, глубокий сон, успела заметить большую русскую духовую печь с пристроенной к ней плитой и дивно чистые полы, крашенные охрой, с яркими по ним половиками, на которых распластался солнечный зайчик, отбрасываемый большим зеркалом в простенке окон...

* * *

– Живем, как видишь... Места незаселенные, правительство не против. Жизнь устроили, что в Забайкалье... Я с восемнадцатого года здесь... Как объявили перед строем, что царь отрекся, так у моих казаков винтовки из рук и повывалились. Вот держали их, а они сами собой упали. Как все равно обухом по темечку нас или наотмашь в зубы... Зря он это, зря... Мы ж за него и постоять не могли, раз он сам отказался... По рукам он нас... Во-о-т... Я сразу и понял – времена наступают, что и война с германцем пустяком окажется. Домой вернулся, жену с дитем в охапку да сюда. С давних пор заимка у нас здесь была на случай охоты, зимой в этих местах охотились. Так вот... все имущество перевез и скот перегнал. Граница при государе всегда была свободная – ходи не хочу. Первое время в заимке ютились, потом отстроились, работников наняли... А кто только что появился, те еще в мазанках да землянках маются. Голыми теперь люди бегут из России-матушки, да и то за счастье почитают... Что говорить, всем деньгам конец пришел, всем капиталам. Как говорится, и тяжелой копеечке, и легкому рублику...

Сидевший за столом лицом к ней крепкого вида мужчина со светлой, как у Гордея, бородой говорил с расстановкой, словно хорошо прожевывая слова перед тем, как выложить свою непростую правду малознакомому человеку.

– Есть опаска, конечно, что как мы прибежали сюда, так и за нами счета сводить могут нагрянуть. Но, как говорится, если Бог не выдаст, то и свинья не съест. Да и мы не без кулаков, пробовали ужо.

Помолчал, отрешенно глядя перед собой, но опомнился, переменялся, приподнял стаканчик, наполненный прозрачной жидкостью, и, обращаясь к отцу, с вежливо-церемонной деликатностью приглушенно произнес:

– За здравие-с!

И стаканчик, такой маленький в его руке, словно птенец, весело блеснув хрустальной искоркой, разом опрокинулся.

Все вокруг – и сидевшие за столом отец с хозяином, как без всяких объяснений поняла Анна, и солнечный яркий свет, заливший эту нарядно убранную комнату с иконой Николая Угодника в углу, скорбными глазами глядевшего прямо ей в душу, и зеркало с рядком картин по стенам, и кровать с высокими в кружевах подушками, на которой лежала Анна, так были желанны, так приятны ее глазам и сердцу, что она улыбнулась.

На ее улыбку тотчас обернулся отец, словно ему об этом шепнули, и, глядя на нее подернутыми маслянистой влагой глазами, ласково протянул:

– Аню-ю-та проснулась... Доченька... А мы тут... – широко развел в стороны руками, – сидим...

Ей казалось, что она лишь на секунду прикрыла глаза, но как очутилась в своем пропыленном платье на этих накрахмаленных кружевах, не могла припомнить. Смущенно провела рукой по голове, стараясь привести волосы в порядок, спросила только для того, чтобы подать голос, только из вежливости, не сомневаясь в ответе:

– Разве уснула?

За столом длинно заулыбались, заговорщицки переглядываясь между собой.

– Дак уж сутки как... – хозяин откинулся на спинку круто выгнутого венского стула, и та тонко скрипнула, словно предупреждая о крайней своей натуре.

– Проголодалась барышня? Милости просим к столу...

Большие пироги, маленькие пирожки, шанежки с капустой, шанежки с рыбой, калачи, горячие щи, присыпанный зеленым луком большой кусок мяса, нарезанный на ломти... Такое изобилие! Ее глаза отвыкли все это видеть даже по отдельности, а вместе, разом это и вовсе казалось невозможным. Стояла, смотрела, позабыв удивиться долгому своему сну.

– Софа! Софочка! – непривычно весело-пьяно закричал вглубь дома отец, и на его крик тотчас вошла мать, помолодевшая от по-новому высоко убранных еще не просохших волос. Шумно кинулась к Анне, обнимая и приговаривая:

– Мы волноваться принялись... Разбудить хотели, но Василий Егорович не позволил... В баню без тебя ушла... Теперь ты... Знаешь, это так славно! Так славно! Идем, провожу...

Темные бревна бани, картинная зелень огорода в низком оконце, раскаленно-шипящая каменка, шелковистая на ощупь вода, в которой мыло, издававшее легко уловимый аромат подсолнуха, так славно пенилось... Она терла себя пеньковой мочалкой самозабвенно, словно хотела вместе с дорожной пылью смыть и весь пережитый ею страх, въевшийся за долгий путь от дедушкиного дома в Омске до этой баньки на чужой стороне гораздо глубже, чем дорожная пыль.

* * *

Мать помогала Павле Григорьевне по хозяйству, а отец, в первый же день набив себе черенком вил руки до набрякших кровью мозолей, так, что потребовалась перевязка, был властно выгрожен Василием Егоровичем из хозяйских дел. И всякий раз, когда отец загова-

ривал, что раны зажили и он готов к работе, хозяин просил его к обеду изловить рыбки. Отец смущенно улыбался на его просьбу, но к реке шел весело, порой проводя на ней весь день.

Анне деревенская жизнь пришлась по нраву. Быстро поняла ход дел обширного хозяйского подворья и уже через неделю храбро замахивалась хворостиной на задиристого петуха, мешавшего сбору яиц. Дни пролетали мгновенно в круговерти сельских дел – коровы, овцы, пашни, покосы...

Василий Егорович с Гордеем уезжали из дома еще до свету, а возвращались в сумерках длинного летнего дня. Павла Григорьевна, дождавшись их из баньки, важно, даже гордо проводжала в горницу, широким жестом руки приглашая за убранный стол, ломившийся от съестного. После короткой молитвы под всезнающим взглядом Николушки степенно рассаживались. Эти минуты Анна любила особенно. Ей помнилось, что такая атмосфера царила и дома, когда она, еще несмышленица, гуляла со старшей сестрой Анастасией в саду и, заслышав, что зовут к столу, со всех ног бежала, чтобы первой броситься к отцу, стоявшему на высоком крыльце с раскрытыми для объятий руками. Отец схватывал их обеих в охапку и нес в столовую, где за сервированным столом ждала мать...

За столом Василий Егорович вел разговор о новом своем житье-бытье, словно заманивая своих постояльцев, словно объясняя им, что вот здесь, в этой Драгоценке, и есть теперь их Родина. И что она почти прежняя, почти неизменная и в чем-то даже лучшая. Все слушали, соглашаясь, понимая, что старый казак уговаривает в первую голову себя:

– В Святки у нас по поселкам ходят скоморохи, в Рождество – христовлавщики со звездой. Храм отстроили, собор Петра и Павла. На храмовый праздник к нам все тутошние забайкальцы, да и дальние православные, приезжают – и из Покровки, и из Усть-Кулей... Да со всего Трёхречья, почитай. А уж Пасха! Это же радость неохватная! И христосуемся, и качели устраиваем, и в лапту играем... Да что говорить! Жизнь не кончилась, идет-продолжается... Нынче и на Масленицу все было – и снежные городки брали, и на тройках катались. Да с бубенцами! Эх!.. Мой Гордей, он такой ловкий, как я в молодости...

На этих словах Василий Егорович с тайным смыслом сощурил глаза на Павлу Григорьевну и, определив, что слова ей понятны, перевел взгляд на Анну, словно проверяя еще что-то, какие-то свои мысли, и, проверив, вновь весь обратился к отцу и матери, продолжая рассказывать-увещевать:

– Гордей мой – он первый. Всегда! На казачьих праздниках он один из лучших в джигитовке и в поле... Да и на охоте! Везде первый! Этому я рад безгранично!..

Все улыбались, поглядывая на Гордея, который сидел не поднимая глаз, и лишь ярко проступивший на щеках неровный румянец выдавал степень его смущения. В распахнутые окна до них доносились далекие, еще несмелые наигрыши гармони, частые веселые звуки бала-лайки, наигрывающей барыню, стройный безмятежный звон цикад. Павла Григорьевна заботливо оглядывала тарелки, стремясь тут же положить на освободившееся место новый кусочек. А родители Анны, поглядывая на хозяина, задумчивостью взглядов выдавали, что заняты своими мыслями.

– Верите, я дома не очень религиозным был. – Василий Егорович, справившись с изрядным куском мяса, вновь вспомнил об обязанностях хозяина развлекать разговорами гостей. – Нет, не подумайте чего плохого, но ведь недаром народ говорит, что пока гром не грянет... А нынче, в отрыве от родных мест, так это необходимо и дорого стало, что и передать нельзя. Дороже злата и серебра. Для детей сохранить надобно, для внуков... – он вновь взглянул на Анну и опять всем корпусом развернулся к ее родителям.

– Вот восьмилетку, школу, всем миром уже отстроили, дом для учителей общество бесплатно ставит, дрова там и прочая тоже забота наша... Вы бы соглашались... Где лучшего искать, столько беды кругом... Рассказывают, что в городах, когда в двадцать третьем пришло в Китай штук тридцать кораблей из России, китайцы первый раз увидели белых на грязной

и тяжелой работе... Русских!.. Или продавать – газеты или мыло какое, раньше немислимое было дело, чтобы белый человек. И по улицам есть такие, что скитаются, милостынями питаются... К такому до нашей беды китайцы не были привычны и, верите ли, разглядывают русских беззастенчиво, как мы зверье какое в зоопарке...

– Не можем мы остаться, – тихо и даже виновато отозвался отец, – нам в город надо выбираться, оттуда в Европу. Очень надеемся там нашу старшую найти. Софья вон вся извелась...

– Ну, ну... – мрачнел хозяин и после минутной паузы вновь начинал увещать-рассказывать:

– А мы все держимся друг за дружку, помогаем, чем можем. Вон картинки по стенам, видишь? Художник в Бес-Кулях живет. Нам эти картинки без надобности, но покупаем, чтобы человека поддержать. Кто за деньги, а кто и овцу отдаст. С обществом-то выжить можно. И рыбу обществом ловим по старинке. Ез – знаешь такое? Кобылины готовим и расставляем их поперек реки – нога к ноге, в ниточку расставляем... Затем бердами застилаем, чтобы, значить, мосток такой получился. Скоками называем его. Это оттого, что рыба на него прыгает, ез не может одолеть и на мосток скатывается... Да поймешь, коли увидишь, дело нехитрое...

После чая под неспешный разговор мужчин, сидевших друг против друга, таких разных, но и таких похожих, стараясь быть незамеченными, Анна с Гордеем выскальзывали из-за стола и убегали на вечерние посиделки, зазывающие веселыми переборами гармошки и россыпью балалайки. Анне в хозяйских легких ичигах, делающих шаг неслышным, и в холщевой рубаше с долгой юбкой, подаренных Павлой Григорьевной, с вольно брошенной по спине косой, нравилось плясать, выстукивая ичигами, как это делали юные казачки. Гордей упорно не принимал участия в веселье, упирался, вызывая смех тянувших его на пляс девчат, а когда Анна выходила в круг, занимал место на краю утрамбованного танцами пяточка, не сводя с нее глаз, словно она вошла в реку и он знал, что она не умеет плавать. Анне нравилось, каким прищуром одаривали ее девушки, безуспешно вызывающие Гордея на танец. Сама Анна и не пыталась этого делать. К чему? Она и без того знала, что Гордей если и выйдет танцевать, то только с ней. И безмятежно наслаждалась такой своей властью.

Домой возвращались с первыми петухами. Гордей шел на сеновал, а Анна, сняв в сенцах запыленные ичиги и стараясь ступать как можно неслышней, невесомей, пробиралась в комнату, отведенную ей с родителями. Укладывалась поверх покрывала и лежала, глядя в потолок, где в квадрате лунного света ветка березы чертила какие-то неведомые тайные знаки, то ли предупреждая ее о чем-то, то ли убаюкивая...

Июль выдался жарким. Дни стояли длинные, знойные. Травы стеной высились по обе стороны дороги. В этом зеленом море Анна угадывала, выхватывая глазом, звездочки зверобоя, высокие царственные султаны иван-чая, сиреневые макушки матрешки. Короткими теплыми ночами, возвращаясь с Гордеем с вечеров домой, удивлялась той стремительности, с какой над селом поднимается рассвет – только-только застрекохнут цикады, а уже и петуху кричать время пришло. И ловила себя на мысли, доставляющей ей некоторое душевное смущение: она никогда не была ранее так счастлива, как под этим высоким небом, где все ее страхи напрочь забылись в тот самый миг, как только увидела Гордея. И даже сестра, далекая и недостижимая, с тех пор как они с ней расстались в Москве, стала в ее снах отдаляться, взмахом руки прося более о ней не тревожиться.

Покос

Ближние к Драгоценке покосы делили обществом между семьями по количеству скота, а на дальних каждый мог косить, сколько рук хватит. Туда, на дальнюю заимку, запастись сеном для своих многочисленных овец и коров на лютую и снежную зиму Василий Егорович отправил работников за неделю до начала страды – инвентарь наладить-приготовить, заимку отремонтировать. А на первый день покоса, обязательно праздничный, снарядил Гордея. Уже провозжая со двора коляску с уложенной в нее снадью, вдруг, словно молодец в танце, хозяин всем телом крутанулся к Анне:

– А не желает ли Анята края наши посмотреть? Ох, и красиво там! А рыбы в реке – хоть ведром черпай. И медок свежий есть... Пасека там у меня стоит... А-а-а? Как думаешь? Да поезжай, девонька! Пола-а-комишься... И Гордею, признаюсь по секрету, догляд не помешает, чтобы от хозяйства не сбежал с удочкой на бережку посидеть вместо косьбы...

Гордей, уже взявший в руки вожжи, замер, словно боясь поворотом головы нарушить что-то невесомо-хрупкое, что вызвали к жизни слова отца. Анна неожиданно для себя легко и весело согласилась с Василием Егоровичем, сама не заметив, как оказалась в коляске рядом с Гордеем, забыв спросить разрешение матери, стоявшей тут же, близехонько.

– Анна! – окликнула та уже сидевшую в тарантасе дочь. И устыдившись то ли своего громкого голоса, то ли своих мыслей, через паузу делано-строго добавила:

– Будь осторожна.

Но не удержалась и уже вслед отъезжающему тарантасу тонко прокричала:

– Не долго! Слышишь!?

Лошадка аккуратная, подбористая легко и весело несла повозку на высоком ходу, картинно встряхивая сбившейся на одну сторону гривой. Коляска словно плыла по едва заметной в разнотравье дороге, намеченной нечастыми ездоками по нагорью. Гордей сидел молча, словно онемел, лишь время от времени искоса поглядывал на Анну, всякий раз этим вызывая у нее смех. И ничего страшного и тяжелого не могло быть более нигде и никогда во всем белом свете. Да и сам мир под высоким небом, казалось, теперь весь состоял только из этого забрызганного цветами многотравья и легко плывущей по нему коляски с Анной и Гордеем. Не выдержав восторга, девушка раскинула руки навстречу простору и закричала громко, в голос, в то же время словно прислушиваясь сама к себе:

– Господи! Всемилостивый! Пошли, Господи, счастья! Счастья для всех! Для все-е-ех...

И словно это ее обращение к Богу разом все переменяло, вызвав всеобщий ответный восторг – и ход лошадки, перешедшей с рыси в галоп, и пение птиц, доселе почти неслышное, одиночное, рассыпалось многочисленными колокольцами над головой, и стрекот кузнечиков, слившийся в единый мощный хор. Сидевший каменным идолом Гордей вскочил на ноги и с иступленным гиканьем закрутил над головой вожжами, подгоняя и без того несущуюся стрелой лошадку. Мчались и кричали до тех пор, пока тарантас одним колесом не наскочил на камень, глухо ударивший по колесу и заставивший Гордея плюхнуться на сидишку, а лошадку сбавить ход, однако ничуть не умалив этим общего восторга и веселости.

Дорога пошла в лоб горы, и Гордей, пользуясь этой заминкой, вложив Анне в руки вожжи, соскочил с повозки. Вбежав в самую гущу разнотравья, он что-то споро в ней искал и нагнал лошадку, одолевавшую высоту, уже на последних шагах. Кинув на колени Анны ворох огромных, с чайное блюдце ромашек, Гордей впервые взглянул на нее открытым долгим взглядом и, забирая из рук поводья, задержал ее ладони в своих.

– Я боялась, что ты не вернешься... Горка кончается... А вдруг понесет... Ты вовремя... – покраснелась под его взглядом Анна.

– А я всегда буду вовремя... – ей в тон, ничуть не разочаровав, тотчас отозвался тот.

К заимке подкатили на рысях. Гордей на ходу ловко соскочил с тарантаса, передавая вожжи вышедшему навстречу им босому старику в холщовой длинной рубаше и в таких же портах. Длинная белая борода, отросшие волосы по плечи делали старика невозможно похожим на фотографию графа Толстого, и лишь его грязные босые ноги никак не давали завершить возникший в воображении Анны облик.

– Ждали вас, ждали... – заговорил тот, ласково оглядывая Анну, словно давно ее знал и теперь доволен тем, что вновь встретил. – Но вы в самую пору – и каша, Маланья кликала, как раз поспела, с дороги-то больно хорошо, и медок свежий, вчера вынул малость, как знал, для барышни... А я, барышня, Савелий... Надолго ли? На день только завтрашний? И то радость нам...

Поручив Савелию разгружать тарантас, Гордей повел Анну к заимке, где под широким навесом за длинным столом сидели мужики, которые степенно поднялись им навстречу. От печи, сложенной тут же, под навесом, спеленав пузатый чугунок широким полотенцем, легко ступая, словно тяжесть не имела для нее значения, к столу спешила дородная женщина с непокрытой по казачьей привычке головой. Глухо стукнула дном чугунок на обильно испачканную сажей подставку, занимавшую середину стола, смахнула полотенцем ближний к ней край лавки и певуче пригласила:

– Подсаживайтесь... Милости просим...

– Спаси Бог, Маланья! – неожиданно степенно отозвался Гордей, первой усаживая Анну и поочередно здороваясь с мужиками. Дождавшись, когда все устроится, Маланья принялась споро раскладывать половником пшеничную кашу с маслом по деревянным глубоким мискам, расписанным, но кое-где выщербленным по краю. Работники молча передавали их друг другу, не возобновляя разговора, прерванного появлением хозяйского сына, при этом с нескрываемым интересом поглядывая на Анну.

Бочонок кваса с солодом и сушеной свеклой – особенный, ядреный, пироги с рыбой, соленое сало с розовыми полосками мяса, краюха хлеба, вареные яйца, свежие огурцы, зеленый лук – все это картинно и щедро было разложено на широких досках стола, выскобленных добела ножом, и все заботливо подвинуто Маланьей ближе к Гордею с Анной. Затянувшееся молчание не прервало и появление Савелия, справившегося с разгрузкой тарантаса. Перекрестившись и заняв место во главе стола, старик сидел, терпеливо ожидая, когда остынет каша, оглядывая Анну с Гордеем, но в то же время глядя словно и не на них. Поначалу Анне казалось, что Савелий любит ее ромашками в венке, но поняла – смотрит он на что-то за ними, вернее – над ними. Только хотела улыбнуться ему, как Савелий, уже взявший ложку, но все так же глядя куда-то поверх ее головы, едва заметно дрогнул глазами, будто наткнулся ими на что-то, и тотчас смертельная белизна согнала с его лица загар. И замеревшей под его взглядом Анне было понятно, что то, на что смотрит старик, мертвенно-страшно. Отрешенность эта длилась долгие секунды, очнувшись и, согнув по-стариковски спину, Савелий заговорил, обращаясь к приехавшим:

– Ходите везде без страха, змей-гадюк не бойтесь, а вот в яблоневою балку – ни ногой. Такой уговор – мы здесь, а они там... А завтра, с Божьей помощью, с первой росой за работу. Чем росистее трава, тем косить легче – всякий про то знает. Начнем, помолясь... Простору много. Можно захват брать побольше. А захват побольше – валок потолще, прокос – пошире. Такая вот крестьянская неизменная мудрость есть...

Слова о змеях и яблоневою балке еще более встревожили Анну. Она взглянула на Гордея, не понимая до конца: брать ли услышанное в расчет? И тот на ее взгляд согласно кивнул, как на дело обычное:

– Савелий у нас, что лешак. Если сказал, что договор со змеями имеет, так оно и есть. Или боятся они его, или только слушаются – не знаю. Но знаю, что теперь ни одну змею на заимке не увидим. Верно говорю, Савелий?

– А как прикажете им его не бояться? – на слова Гордея весело отозвался с другого конца стола мужик с черной курчавой бородой. – Одна змея как-то вцепилась ему в пятку и не смогла прокусить. Ей-богу, сам видел. А Савелий, вот вам крест, ее отпихнул пяткой, лениво так, да и говорит:

– Этэ, матушка, не за то тело взялась...

Громкий хохот людей, расположенных повеселиться, ничуть не смутил Савелия, задумчиво подбирающего широкой деревянной ложкой рассыпчатую кашу, словно речь шла не о нем, да и будто ничего не слышал. Но, несмотря на смех и подшучивания, то, как испугался старик, глядя на что-то над ее головой, да его уговор со змеями поразили Анну. Тревога, казалось бы оставившая ее вовсе, вновь коснулась сердца, стеснила дыхание. Она поглядывала на старика, как на человека, сумевшего распознать в ее будущем грозящую ей беду.

Или Гордею?

Сидела взволнованная чем-то мощным, неведомым, что почувствовалось ей в Савелии.

– Эх, живешь колотисся, торописся, – улыбалась, усаживаясь за стол, дородная Маланья. – Ешь – дависся, с чего поправисся?

Ее веселость и легкость, с какой она управлялась с делами, словно вместе с ней присели к столу и передались разом всем обедающим. Заулыбались, поглядывая на Маланью, веселее застучали ложками.

– Можно спросить? – тихонько шепнула Гордею Анна, пользуясь тем, что внимание к ним за столом ослабело, и тот пригнулся к ней услужливо, расторопно. – Савелий судьбу предсказывает?

– Может. За то его люди и уважают, и побаиваются. Да зря. Он о том, что увидел, расскажет, если нужным сочтет. Подойдет и выложит. А по-иному проси не проси, не скажет. Значит, поделать ничего нельзя, значит, на роду так написано, не переиначить, и заранее людей тревожить нельзя и незачем...

И почувствовав ее страх, принялся ласково утешать, успокаивать:

– Не бойся. Он не злой и потому злое не видит...

Кивнула, словно соглашаясь, усилием воли отогнав от себя тот необъяснимый трепет, что испытала, глядя на смертельно побледневшего старика.

Молодец с курчавой бородой, звучно похрустывая огурцом, тянулся через весь стол к Маланье с миской за добавкой:

– Подай-ка еще. Голодный, ажно чуть волосы на себе не объел. Да жалко их – без них девки любить не будут.

– Ишь ты, какой ненажора, – подхватила его шутейный тон Маланья и, возвращая мужику полную миску, тепло, по-матерински добавила: – Меру все ж соблюдай...

– Меру хоч соблюдай, хоч не соблюдай, а после меня не будет меня, – еще более развеселился мужик, загребая ложкой кашу.

– Он и в работе такой, – все еще испытующе поглядывал на Анну Гордей. – Первый везде. Однажды на покосе косарей всех загнал. А сам Сидор (Сидором его звать) на конце прокоса оглянулся на мужиков – те еле дышат, а он плясать стал...

Чуть коснулся ее руки повыше локтя, перешел на шепот:

– А ты, кушай, кушай... Ничего не бойся...

* * *

Настолько круто падала дорожка к воде, что невозможно было удержаться от бега. И прыжок со всего размаху в объятия реки – мощные, всеохватные, прохладные, словно матушкина ладонь в жар. После утомительного зноя как чисты, как ласковы эти объятия, вызывающие безоглядный восторг и желание плыть дальше и дальше... Покуда сил хватит. Но, не зная

норова реки, плыть к середине Анна не посмела. Сделала пару кругов недалеко от берега и вышла, на ходу выжимая отяжелевшую, плотно облепившую ноги нижней юбку. Сняла с куста блузку, отерла лицо и, закрыв глаза, подставила себя солнцу.

Едва доносились с заимки голоса людей, звонкий частый постук обушка топора по лезвию косы, не мешавшие, а еще более подчеркивающие царившую на реке тишину. Отчетливо был слышен шелест крыльев стрекозы, летающей над прогретой солнцем кромкой воды. Так сладко... и так больно. Отчего? Отчего до конца не тает тревога надвигающейся на нее беды? Только ли от сумеречного взгляда Савелия? Оттого ли, что не подошел старик и не сказал, что их ждет? Просто и прямо, как сказал про то, где можно ходить без страха наступить на змею...

Потянуло к людям в надежде, что чем ближе она сойдется с ними, тем скорее спрячет тревога свои коготки. Начала спешно одеваться, но замерла, ужаленная мыслью, – может быть, ей тягостно оттого, что ни единого раза не вспомнила за весь длинный день о родителях? Да ни о ком на всем белом свете не вспомнила, а только хотела, чтобы день этот длился долго-долго и чтобы Гордей смотрел на нее своими искристыми глазами...

И поразившись неожиданностью самой себе данного отчета, расплакалась, громко, навзрыд, запутавшись в рукавах прогретой солнцем блузки.

* * *

Гордей выбежал на ее слезы, словно стоял, сторожа, неподалеку, и растерянно замер. Легонько коснулся плеча, забормотал:

– Что ты? Что ты? Ну? Не плачь... Не бойся... Не бойся, Аннушка...

И вдруг едва не вскрикнул, крепко стискивая ее плечо.

– Да той боли нет, что я за тебя не смог бы вынести!.. Слышишь? Той боли на свете нет...

В его глазах плескалась такая неудержимая радость, что Анне вновь сделалось легко. Тепло и весело колыхнулось в груди. С облегчением сквозь слезы улыбнулась она Гордею, отступившему от нее на шаг, принявшемуся рассказывать ей так чудесно и беззащитно-взволнованно, совершенно бессмысленно, невпопад и вовсе не к месту об охоте:

– Таежного зверя здесь много – рысь, колонок, изюбрь, выдра, а белки и вовсе не в счет. Артелью охотимся. Уходим на белковье в тайгу ден на сорок и все, что настреляем, тут же русским коммерсантам из Хайлара или из Харбина отдаем. Панты ценятся очень высоко. Это молодые рога изюбря так называют. Дорого дают. И хорьков на кулемки берем, а пастушки и петли на зайцев ставим, капканы на лисиц и волков, пасти на козулю... Я много чего умею и знаю. И в артели более всех всего добываю... – отступил от нее еще далее, пристально и в то же время умоляюще посмотрел Анне в глаза. – Ни в чем не будешь нужды знать... Слышишь? И никому не дам в обиду... Ни слезинки не дам проронить... Во всю мою жизнь!..

* * *

...Ночь, тихая, бархатно-темная, с россыпью ярких звезд на небе, будто обняла за плечи, шепча: остановись и смотри, как хорош мир. Анна стояла в дверном проеме, прикрывшись шалью Маланьи, дышала торопливо и жадно, вглядываясь в мерцание звезд, словно от ночного неба зависело ее будущее.

Под навесом, справившись с делами, сидели работники, несмотря на предстоящий ранний, на заре, подъем, не спешившие расходиться. До Анны доносились обрывки их разговора, яростного, полного затаенных обид:

– А че ты все Шпилькин да Шпилькин?.. Да его дело сторона. Че ему было говорено, то он и делал... Герой, тоже мне... И у петуха вон шпора, а не звенит... Так и Шпилькин твой, рази персоне? Вошь на гребешке...

– Ну-у-у, не скажи, сторона... Рази положено ему было столько, сколько творил? Да и не один он-то... Господа всякие и те партии делали, чтобы царя сместить, все об свободе хлопотали, словно ее у них не бывало, свободы-то этой. Вот и сместили, добились своего, потонули мы все безнадежно, да и их расшвыряло без остатку.

– Да че мы тут кому доказываем? – возвысился голос, по которому Анна безошибочно определила скорого на язык и работу Сидора. – Хорунжий Шпилькин сплошная сволочь. Слеподур. А из-за таких, как он, и на царя-батюшку в народе обиду имели. Вот клещука взять – маленький, ровно клоп, а поганец изрядный, такое несоответствие в организме наведет, что и доктора не выправят. Так и люди, как Шпилькин, на государевой службе клещуками были – все поганили, а государь, получается, что за всякого клещука в ответе?..

– Помазанник он, стал быть за все и в ответе. Чего всякой сволочи расплодиться волю давал? Да к ногтю надоть было, клещуков этих. На то ему и власть была Богом дадена, – по голосу определила Анна сидевшего за столом рядом с Гордеем немолодого уже казака.

– Чего? Чего? – тут же взвился Сидор. – Да вся Европа ором орала, что человека забирают шибко в России...

– А теперь че? Не орет? Когда убивают всех без разбору, не орет? Чего слушал-то этих горлопанов? В своей-то вотчизне? – не дал договорить Сидору чей-то взвившийся до ненависти голос. – А теперь вона, по всему свету, как перья, разлетелись...

Замолчали, словно оборвались с крутого берега все разом, словно и не спорили, пытаясь разобраться в своей и чужой вине, и больше не нарушали тишины.

Анна стояла, оглядывая небо, звезды, слушала мужиков и почти не слышала их, словно то, о чем они говорили, нисколько не касалось ни ее судьбы, ни судьбы близких ей людей. Да и не хотела она ничего ни слышать, ни знать, а только прислушиваться к ночным звукам и шорохам, там, на широкой, еще не скошенной луговине, и дальше – в глубине перелеска, к дыханию реки – ясному, мощному, к звонким всплескам воды беззаботно играющей рыбы, забыв о тревоге с той самой минуты, когда услышала это – той боли нет, той боли нет... Наверное зная, что сейчас, в эту же минуту, все, что видит и слышит она, видит и слышит Гордей. И ощущение счастья звонко распевало в ней, заставляя беспрестанно улыбаться.

Стояла и улыбалась до тех пор, пока не окликнула Маланья.

* * *

Уложила ее Маланья на душистый, набитый свежим сеном матрас, отзывающийся на всякое движение тела тихим, словно шепот, шорохом. Смежив ресницы, смотрела на стряпуху, стоявшую смиренно перед образом, но слышала ясно, отчетливо:

– Той боли нет... Той боли нет, Аннушка...

И, счастливо вздохнув, незаметно для себя уснула. Ей снились свежескошенные валки травы, которые нужно было поворачивать для просушки. Но у нее с граблями не ладилось, и она все выглядывала и выглядывала Гордея, который был то на самом краю прокоса – длинного, через всю луговину, а то и вовсе где-то у самого подножья гор. Кричал ей что-то оттуда, не приходя на помощь. И она стояла одна-одинешенька на пустой, скошенной луговине, над которой властно и грозно белыми крыльями поплыл туман, закрывая от нее и бездонное небо, и ослепительное солнце, и саму луговину с Гордеем.

* * *

Василий Егорович, какой-то необычно празднично-строгий, торжественно осенил себя пред иконой крестом и повернулся к Анне:

– Отец у себя? Пройду к нему...

Василий Егорович в гимнастерке и брюках с лампасами, заправленными в начищенные до блеска сапоги, держал на изгибе согнутой руки папаху с желтым верхом. Анна не разбиралась в нашивках и знаках отличия, но поняла – перед ней чин старший, заслуженный. Удивленная официальной торжественностью его вида и тона, она отошла в сторонку, давая пройти.

Неясная тревога ветерком охватила плечи, скользнула по спине, сердце внезапно и гулко бухнуло. Она поняла, что вся эта торжественность и праздничная строгость на лице Василия Егоровича касается напрямую ее.

Ее судьбы, ее жизни.

И, поняв это, в единый миг вновь пережила разговор с родителями после ее возвращения с заимки.

Мать окинула ее чужим, цепким, холодным взглядом. И Анна, оскорбленная им, растерялась. Что-то погасло у нее внутри, словно сквозняком задуло свечу, и согнулось, как обгоревший фитиль. Покорно присела на стул, сложив руки на коленях, в ожидании выговора за легкомыслие. Но разговор был не о ее самоволии, а о том, что им более нельзя оставаться в Драгоценке, злоупотребляя гостеприимством хозяев. Пора пробираться в Шанхай, ближе к консульствам и представительствам европейских государств. Только в их власти открыть им путь в Европу. В Европу, перенаселенную русскими беженцами, где есть надежда встретить Анастасию и найти возможности для достойной жизни.

Анна, чувствуя себя виноватой, смотрела на мать, на ее бледное строгое лицо, на седую прядку волос, доселе ею незамеченную, на отвернувшегося к окну отца, отмечая остро, как низко опущены его плечи и как много во всем его облике от старика...

От Савелия...

Такую степень напряжения родителей она не видела с того полустанка, на котором скончался ее дед...

Остро кольнуло сердце: но как же Гордей? Как же? Где же? Как же он? И от душевной боли стеснило грудь, подумала, что, верно, над ее ромашковым венком Савелий видел, что их пути отдельны друг от друга...

Не пересекаются...

Словно пригвожденной к месту, Анне в распахнувшуюся дверь было видно, что встал навстречу Василию Егоровичу отец, что он тоже удивлен торжественностью хозяина. Дверь захлопнулась, но Анне слышно было и смущенное покашливание Василия Егоровича, и шум передвижаемых, переставляемых с места на место стульев. Звуки прекратились, и в установившейся тишине, в которой невыносимо шумно билась в окно залетевшая в комнату муха, из-за закрытой двери ясно донеслось:

– Я по-простому, Иван Силуяныч, и прошу не осудить. Разговоры говорить мы не мастера, выложу, как умею, – приглушенно закашлялся в кулак, явно желая перебороть остатки волнения. – И мы, и вы хлебнули горяшка по самые ноздри, и беда многожды переиначила наши судьбы, но знаю: не чета мой сын твоей дочери по-прежнему. Как говорится, куда горшку с чистой посудой знаться, а грошу с рублями... Однако вот все же пришел счастья пытаться...

Вновь прервал свою речь, заскрипел стулом, словно желая удобнее усесться, и продолжил:

– Я кой-какой, а капитал имею... Скопил кое-что. Для сына стараюсь. Сын один, души в нем не чаем, а что касаемо твоей дочки, ее еще боле жалеть будем...

На этих его словах Анна, закаменев на месте в упорстве все слышать, задышала часто, как обиженный ребенок. За дверью явно порывался что-то сказать отец, но это явно вовсе не входило в планы набравшего смелости для сватовства Василия Егоровича, и он, возвысив голос, упреждающе-испуганно запротестовал:

– Нет, нет! Не перебивай, будь ласка!

Вновь застучал отодвигаемым стулом, устраивая его еще надежнее, и, наконец, заговорил:

– Так вот. Не смею ни настаивать, ни торопить. А лишь учесть все мною сказанное. Ибо пекусь о счастье сына своего. Да и Анята для нас, что светлый ангел... Умная она у вас, по глазам видно, в себя глядится... И к свекрови ей не нужно будет привыкать... И разом не отвечай. Подумайте вместиах, посоветуйтесь...

Закашлялся, смущенно, взволнованно, вновь скрипнул стулом, уже вставая.

– Гордей ничего не знает. Я сам решил. Чтобы он, в крайнем случае, легче пережил... А ты, Иван Силуяныч, решай их судьбу – мое слово, а твое дело...

* * *

Долго сидела Анна под стеной амбара, под рясным кустом кислицы, смотрела, как по тонкой палочке, застрявшей мостком между двух веток, деловито бегают муравей, неся на спине чешуйку овсяного зернышка. Добежит до конца и смотрит, перебирая лапками, в открывшуюся перед ним пропасть. Постоит, посокрушается да в обратный путь, чтобы донести свою поклажу до другого конца и вновь встать на краю, сучить над пропастью лапками, не догадываясь свернуть на одну из тонких прожилок ветки.

Сюда к ней доносились едва различимые звуки двора, который переменялся, стал другим, словно он только что у нее на глазах разом перевернулся, показывая себя иной стороной и жизнь ей в нем предлагая совершенно иную.

Идти ли в нее? Делить ли ее? Остаться ли ей в этом мире – мире заимок, необъятных полей и этого двора, который теперь замер, даже затаился за ее спиной, насутился в ожидании ответа.

Все в ней желало сказать «да», чтобы видеть всякий день Гордея, чувствовать жар его рук, но пониклый образ растерянного до нелепости отца, печальная седина в прическе матери и чужая строгость ее глаз неотступно и ясно внутренним взором виделись ей во всем, даже в бесплодной беготне тонконового муравья с тяжелой поклажей.

Уютно и мирно над головой, под самой застрехой амбара, ворковали голуби, добавляя грусти ее переживаниям. Подняла лицо вверх – на самом краешке выгнутого конька крыши сидела белая пара. Один, верно, самец, частыми мелкими движениями головы прикасался к сидевшей тихо и прямо голубке, будто целуя ее или утешая-уговаривая. И глядя на их четкие силуэты на фоне чистой небесной голубизны, она с отчаянием поняла, что не сможет оставить родителей.

Никогда не решится.

Еще долго сидела, утомленная мыслями, обняв колени и чувствуя спиной тепло амбарной стены. Давно нужно было идти помогать на кухне, но сил в себе не находила. Муравей, так и не бросивший своей поклажи, наконец, нашел обходную тропу и, перебирая одну веточку за другой, все ниже и ниже спускался к земле. Подставила ему золотистую соломинку, чтобы укоротить его путь, и тот, чуть пошевелив усами, тотчас ею воспользовался.

Волной нахлынул озноб. Поднялась, похожая на хмурого зверька, тщательно отряхнула юбку и пошла, вздернув подбородок, по своей соломинке, навстречу дню, наградившему ее неожиданной болью...

* * *

Гордей к обеду с сенокоса примчался верхом. Соскочил с коня, передав поводья работнику, торопливо вбежал на крыльцо. Пахнувший сенной трухой и солнцем, он теперь ни от кого

не скрывал своего счастливого лица, своего желания видеть Анну во всякую выдавшуюся ему свободную минуту, заулыбался ей навстречу – открыто, белозубо. Но тут же насторожился:

– Все ли хорошо? – спросил посуровев.

– Не знаю... Нет... Не то говорю. Прости... Мы уезжаем... – боялась встретиться с ним взглядом Анна. И вдруг, неожиданно для себя, кинулась к нему на грудь, выдохнув в горячее плечо:

– Уезжаем мы. Завтра уезжаем. В Шанхай нам нужно. Уезжаем...

– Как? Отчего? – завороченно, словно не понимая сказанного, не сразу отозвался Гордей. – А ты?

На крыльцо было вышла Павла Григорьевна, но, увидев Анну с сыном, тотчас вернулась обратно, плотно затворив за собой дверь. Сезонный работник, только что принятый, обрядив коня, медленно прошел мимо, оглядывая молодых, так беззастенчиво, не стесняясь чужих глаз, миловавшихся у всех на виду. А Гордей, крепко держа ее за плечи и заглядывая в глаза, совершенно не слушая ее невнятно-жалостливого ответа, все спрашивал и спрашивал:

– А ты? А ты? А я, как же?.. Как же я? Я-то как?..

* * *

...Вечеряли, стараясь не глядеть друг на друга, то ли остро сожалея о расставании, то ли тяготясь временем, которое еще предстояло провести вместе. Не в настроение им празднично сиял самовар, свет от лампы весело отражался на его боках.

– Время летит стрелой, – качнул поднятым стаканчиком Василий Егорович. – Только-только встретились, а теперь проводины. Апрель был, а теперь вот июлю конец...

– Что да, то да, – отозвался отец, тоже взявший стаканчик. – Мы благодарны вам за всю вашу доброту, за приют, что вы нам оказали...

Гордей сидел над своей тарелкой ко всему безучастный, лишь изредка внимательно оглядывая лица присутствующих, словно всякую минуту ожидая от них веселого смеха и рассказа о том, что внезапно намеченный отъезд – это своего рода шутка, которую пришло время отменить.

– Да куда ехать? – вдруг взорвалась Павла Григорьевна. – Горе одно кругом! Люди как на огне живут! Не хотите дочку одну оставлять, так и сами оставайтесь. Где искать будете старшую? В таком-то Вавилоне? Хоть обижайтесь, хоть нет, а я скажу так – ваше дело теперь о младшей хорошенько подумать...

– Молода она, чтобы одной оставаться... – с нервным испугом выдохнула мать, ища глазами поддержки то у дочери, то у мужа. – Вот устроимся, и, если ничего не переменится, пусть Гордей приезжает... Шанхай заранее намечен у нас был... В этом городе много гарантий. Администрация международного сэттльмента оказывает русским беженцам помощь, дает возможность найти работу с английским или французским. Мы не привыкли за чужой счет...

– Я надеюсь, – не в силах выносить более волнение жены, с которым она убеждала всех о существующих в Шанхае гарантиях и о том, что отнюдь не из-за Гордея они назначили свой отъезд, вступил в разговор Иван Силуянович, легким движением руки коснувшись ее, прося прощения, что перебивает. – Надеюсь, мое знание языков даст мне шанс поступить на службу в контору по международной торговле. Это решило бы все. Кроме того, порт сам по себе дает возможности для людей предприимчивых, наших русских мамонтовых, которые, в свою очередь, нуждаются в услугах других. Возможно, Софья там сможет получить работу машинистки... И если так, то Европа нам станет ближе...

– Резон есть, – долгим взглядом смотрел на Гордея и Анну Василий Егорович. – Не в Америку уезжают, в Шанхай. Всего ничего. Зимой и навестишь... Много чего пережили, а это разве срок? И его переживем!.. Верно говорю?

Наигранно весело стукнул стаканчиком о стаканчик отца, пригласил, наконец, выпить.

– Да. Пережили, – словно в задумчивости согласился отец. – Такое пережили, что порой мне казалось, ни Бога нет, ни любви. Есть только жизнь, ее прожить нужно, оттого только и живешь...

Залпом выпил и, забыв, что в доме не курят, вытащил папироску, нервно размял ее, но опомнился под взглядом хозяина, молча кивнувшего на Николая Угодника. Скомкал папиросу, сунул в карман:

– Я часто стал вспоминать одного городского... И сейчас вот вспомнил... Давно было, еще в юности. Мы с приятелем студентами старшего курса поездом ехали в его имение... Юные, жизнь стремились всю разом обнять... И вот выходим в одном городе на перрон, веселые, беззаботные, шампанского много выпили, в карты играли... А тут – простор! Отчетливо помню – пушистые тучи тянулись гуськом по горизонту, и солнечные зайчики по веткам деревьев прыгали, словно листья перебирали...

Духовой оркестр весело играет, барышни под зонтиками. Всюду смех...

А мы, словно короли столичные, гордо на все смотрим, важно по перрону идем. Дошли до края перрона, и вдруг – глубина открылась, разом во все стороны далеко-далеко видно стало. И река... Величественная. Вся на виду.

Стоим, смотрим, молчим... И я, проверяя себя после шампанского, поворачиваюсь к стоявшему неподалеку городскому да и с небрежением говорю:

– Скажи, любезный, что за река?

А он мне ласково так отвечает, как убогому:

– Волгушка, барин...

И стыдно мне вдруг стало... – отец повлажнел глазами, прервал свое повествование, опять стал нашаривать папиросы в кармане и, вспомнив, что нельзя, продолжил. – Столько разом было в его голосе – и гордости, неведомой тогда еще мне, и отеческого к нам понимания, и снисходительности... Думаю, что же с ним стало? Не пощадили, наверное...

– Что и говорить – у кого из нас нет греха перед Богом и вины перед царем? Нет таковых, – подхватил разговор Василий Егорович. – Я вот хоть и стреляный, и колотый в боях, и всегда точно знал, кто есть враг, а ведь грешен, укорить много есть в чем... Хотя чего... Знал!.. Кабы знал... Иной раз то одно, то другое на ум придет, и вижу все по-иному, и понимаю. Кабы вернуть, то не раз бы кто меж глаз у меня получил...

Иногда лошадям завидую. Лошади лучше нас понимают... Что смеетесь? Лошади и на войне лучше человека смерть понимают... А знаете, какое самое легкое ранение? В правую часть груди. В легкое. Болит только грудина и спина. А легкое-то ничего не чувствует. Заживает за две недели. Это я к чему говорю? – он высоко поднял блеснувший под лампой стаканчик. – Давай, Силуяныч, если придется рану принять, так чтобы в правое легкое, а если смерть придет, то чтоб разом. От меткой пули...

Тончайший дождик зашелестел за открытыми настежь окнами, напоминая, что ночь коротка, а выезжать надобно на рассвете и что с рассветом кончится Драгоценка в жизни Александровых.

* * *

...Долго шли по затейливым душным улочкам, наконец, садились в весело дребезжащий на поворотах трамвай с преисполненным важностью водителем в белой униформе, стоявшем на открытой платформе вагона, отчаянно звонившего на выскакивающих на трамвайные пути быстроногих рикш, везущих в своих колясках пассажиров. Каждое утро этот трамвай вез их от бедного, пропахшего запахом самой нищеты района до красивейших, по-европейски широких проспектов со снующими по ним, весело блестевшими лаком автомобилями с

беззаботно-нарядной публикой, мимо древнего парка Радости, за воротами которого виднелись беседки с причудливо загнутыми краями крыш, где угадывалось обилие камней, зелени и чудились многочисленные пруды со стайками ярко-красных и золотых рыбок с вуалевыми длинными хвостами.

Доехав до нужной остановки, первым делом заходили в храм, поставленный в самом начале века, еще до злых времен, малочисленной тогда русской колонией. Вглядываясь в лики святых, просили милости и заступничества и не могли не плакать. После храма шли, оглядывая вывески, по финансовым компаниям, конторам недвижимости, аптекам, фотографическим мастерским, редакциям газет, магазинам, банкам, гостиницам и ресторанам – по всем возможным адресам, где можно было предложить свои услуги.

– Простите, господа, – начинал отец, представившись в очередной раз. – Не найдется ли у вас какого-либо места? В России таким, как мы, больше нет возможности жить, и мы вынуждены искать службы здесь...

Порой их выслушивали, что-то коротко записывая в блокнотиках, и кланялись на прощанье, прося нанести визит через несколько дней, так и не предложив работы, но чаще отказывали сразу. И нередко бывало, выйдя из здания, они встречались с такими же, как и они, русскими беженцами, пытливо разглядывавшими вывеску конторы.

Все чаще отец был угрюм, быстро утомлялся. Раздраженно дергая щекой, бубнил что-то себе под нос. Мать смотрела на него жалобно, растерянно. К вечеру добирались до набережной, к сидевшему возле здания английского банка величественному бронзовому льву, по слухам приносящему деньги всем, кто к нему прикоснется. Каждодневное похлопывание льва, придерживающего лапой шар, по отполированному многочисленными ладошками носу не приносило ни монет, ни удачи, но каким-то непостижимым образом успокаивало, вселяло надежду на завтрашний день. Спускались к набережной и стояли, вглядываясь в неохватные, сливающиеся с небом дали океана, оглядывая хрупкие, сбивающиеся в стаи рыбацкие лодки с высокими прямоугольными парусами, поставленными неестественно прямо, словно вороны перья в скорлупу яиц.

– Да... Наше положение не из удачливых. Но после того, что мы вынесли, это ничто. Пустяки... – подводил итог дню отец.

– Ничто, Ваня, – тут же откликнулась мать, успокаивающими движениями поглаживая рукав его сюртука. – Ничто...

В эти минуты Анне было жаль их до горячих слез, которые в их семье могли позволить себе лишь в церкви.

В одну из ночей она слышала, как мать шепотом, не выдержав тоски, корила себя, вспоминая Анастасию:

– Мы спаслись, Ваня, мы спаслись, а она? Как мы могли так поступить? Как я могла отпустить от себя Анастасию в такое страшное время совершенно одну? Жива ли? Только бы знать...

А теперь, вглядываясь вместе с ними в океан, она думала, что, может быть, они не спаслись, а только убежали, чтобы вечно скитаться на чужбине? И ей вновь начинало казаться, что на всей земле не осталось ничего прочного, покойного.

Разве только в Драгоценке...

* * *

На набережной наиболее частыми были знакомства с русскими, у которых было отличное или даже блестящее прошлое и тяжелое настоящее. Никто не предавался воспоминаниям, зная, что вспоминать и ненавидеть – занятие напрасное. Лишь пересказывали все, что, по их опыту, могло другим помочь выжить на чужой земле. Выжить без защиты консульства, без юридиче-

ского статуса, без привилегий и какого-либо гражданства, потому что на Родине, в России, о них уже давно забыли.

Словно их уже не существовало.

Да и вовсе никогда и не было.

Поесть заходили в дешевые китайские забегаловки, поначалу оглядывали тарелки людей, уже купивших еду, боясь крахмальных сгустков слизи в бульоне или утиных лапок, запутавшихся в побегах сои. Китайцы не знали ни русского, ни английского, ни французского, а они – китайского, поэтому приходилось общаться знаками, пальцами указывая на то или иное блюдо. Но быстро пришли к выводу, что самой подходящей и сытной пищей для русского человека были паровые пельмени с креветками, зеленью или свининой. И название запомнилось сразу – чао дзы.

– Ше-ше... – благодарил отец расторопного повара, порой подкладываявшего им в миску лишний пельмень и довольно часто неотрывно глядевшего на то, как они едят.

К китайскому говору – резкому, громкому и одновременно с мягкими, какими-то мяукающими нотками, несмолкающему ни на минуту, если собиралось более трех человек, Анна долго не могла привыкнуть. На перронах вокзалов от постоянного гама попервости она чувствовала себя уставшей, оглохшей и удивлялась тому, как можно людям беспрестанно говорить, перекрикивая друг друга, при этом не переставая смеяться. Беззастенчиво, даже беспардонно китайцы разглядывали родителей, хитро при этом переглядываясь и над чем-то потешаясь. Их оливково-черные маслянистые глаза, казалось, преследовали ее повсюду, следили за каждым движением. Но именно в небезупречных китайских ресторанчиках, где сам хозяин был и поваром, и официантом, они находили сочувствия более, чем в каком другом месте. Русские рестораны, которые делились на две категории – шикарные и только что открывшиеся, посещать не могли. На шикарные не было денег, а в только что открывшихся блюда стоили дороже, чем в китайских забегаловках. Знали и о ресторанчиках, где хозяева не отказывали соотечественникам в бесплатных обедах, но такие, как правило, быстро разорялись. И между русскими установились негласные правила – не пользоваться добротой до тех пор, пока не окажешься в полной безысходности. Порой человек во время походов в поисках заработка падал в голодный обморок, но все еще отказывался от бесплатного супа, видя на улицах скитающихся женщин с детьми, инвалидов, просящих милостыню, и сбившихся в стайки исхудавших детей. Чужбина всех без разбора сгибала колесом. Никто не сидел, ожидая, что все в его жизни изменит какой-то волшебный случай – дворяне работали грузчиками в порту, генералы занимались покраской вагонов, казаки подносили чемоданы на вокзалах, их жены ходили по домам – мыли, стирали, нянчили.

Суета в поисках работы отвлекала Анну от мыслей о Гордее, но не было дня, чтобы она не хотела к нему, не вспоминала о нем. Особенно, как смотрел он на нее, когда садилась она в коляску, словно не веря глазам своим. Не веря, что вот сейчас коляска тронется и навсегда увезет ее со двора. Увезет от него...

* * *

...Когда Василий Егорович, беспрестанно балагуря, провожал их до коляски, было видно, что свое смущение он скрывает за напоказ веселым расположением духа:

– Хороший хозяин гостей провожает до ворот. Богатого – чтобы не упал, а бедного – чтобы не украл... Да не пихайся ты, Павла Григорьевна, вовсе не о том я... Да теперь и не поймешь, кто из нас кто, да и не об этом я вовсе, – досадливо оглядываясь он на жену, отмахиваясь от ее толчков за свои неуместные слова. Остановился у коляски, посуровел лицом:

– Простите, если что не так... Мы по-простому, от души.

И тут же стал неуклюже совать что-то отцу в карман сюртука. И видя, как отец напрягся лицом, стараясь вытащить из кармана то, что в него только что положил полковник, проникновенно, даже покаянно попросил:

– Не отказывайся, Силуяныч, Христом Богом прошу... До Европы не хватит, а на первое время лишним не будет...

И зашпешил, махнув рукой вознице:

– Трогай давай!

И в последнюю минутку к ней, ласково-проникновенно:

– Ну, Анютка, даст Бог – свидимся...

А Гордей стоял позади родителей и ни руки на прощанье никому не подал, ни слова не проронил. И она, словно обиделась на него за это молчание, отвернулась, как только коляска тронулась с места. И ни единого раза не повернулась, боясь, как в детстве, что если обернешься, то страшная чащоба лесная вырастет не за твоей спиной, а прямо перед тобой. И полонит, захватит тебя.

И будет не обойти ее, не объехать...

Девушка для танцев

Пахнувший типографской краской свежий номер газеты «Шанхайская жизнь», который покупали больше ради объявлений о розыске родных и близких или возможности найти работу, особенным, траурно-черным шрифтом с первой полосы кричал о чем-то горестно-важном, непоправимом, как все, что случалось с ними вот уже второй десяток лет. Люди, начиная читать газету на ходу, становились в сторонку. Не меняя позы, до конца прочитывали дрожащие на ветру листы, но не расходились, сбиваясь в странно молчаливые группы.

– Что там еще? – выискивал отец в кармане мелкие китайские монеты копперы. – Будто война начинается...

«Карательные отряды НКВД прошли огнем и мечом по мирным селениям Трёхречья» – кричали Анне траурные буквы.

Еще не вполне осмыслив, с недоумением посмотрела, ища объяснений, на отца и мать, тревожно переглядывающихся между собой. Строчки прыгали перед глазами – насилие и разбой, дикие расправы... Только в одном из казачьих поселений зверски убито сто сорок человек, включая женщин и детей. Свыше шестисот трехреченских поселенцев были вывезены в СССР, часть расстреляна, большинство попало в концлагеря и тюрьмы... Несколько раненых добрались до Хайлара и поведали об ужасах, перенесенных мирным населением... Японское консульство на станции Маньчжурия пыталось защитить мирное русское население, но ничего не смогло сделать... Эмигрантское население Харбина устроило массовую демонстрацию в знак протеста против советских бесчинств...

Закончив как в тумане читать траурное сообщение, она зацепилась глазами за тонкую колонку стихов. Словно в обмороке, прочла:

Ах, беды не чаял беззащитный хутор...
Люди, не молчите – камни закричат!
Там из пулемёта расстреляли утром
Милых, круглолицых, бойких казачат...¹

И не смогла больше. Повалилась на руки отца, успев услышать вскрик матери:

– Анечка! Анечка! Может, это не про них... Слышишь меня? Не про них это!.. Может, они спаслись...

* * *

Всю долгую дорогу от набережной до снятого ими угла они молчали, словно очерстев. Анна была странна самой себе – ни одной мысли, ни слез, ни сердечной боли.

Пусто всюду. Только неотвязно вертелась, просясь на язык, строка стихотворения:

– Расстреляли нынче утром на заре... Расстреляли нынче утром на заре... Расстреляли на заре...

И ярко вспомнила всех, словно увидела перед собой – Василия Егоровича, Павлу Григорьевну, Матрёну и Савелия, и саму себя в венке из ромашек, сидящую рядом с Гордеем. И голос его слышала – близко, тепло:

– А ты кушай, кушай... Устала небось...

И поняла, словно сама увидела, на что тогда засмотрелся старик, мертвенно побледнев лицом.

¹ Марианна Колосова, «Казачат расстреляли», 1929 год, Харбин.

На смерть смотрел...

* * *

Она не забила в угол от горя, не плакала, жила по-прежнему, только неотвязно задавала сама себе вопросы:

– Почему? Почему так? За что?

Почему сюда, в другую страну, дотянулась царствующая на ее Родине, зародившаяся в чем-то темном, пещерном, кровожадном сознании страшная несправедливость, облаченная в слова – вся власть советам, рабочим и крестьянам, ради которой нужно убивать, убивать, убивать?.. Почему нужно убивать даже тех, кто спасся бегством от нее? Почему Гордея? Почему без счета и без разбора? И почему это терпит Господь? Может быть, так оно и есть, отец прав – нет ни любви, ни Бога, а нужно прожить жизнь?

Но зачем?

И честно, испытующе во что-то всматриваясь, старалась найти ответ.

Но не было ответа.

Мать страдальчески взглядывала на нее, но не утешала, всякий раз заговаривая совершенно об ином. Насущном. Каждодневном. Без чего не выжить. Лишь раз, не выдержав, сказала, что страшится самой мысли о том, что было бы, если бы они оставили ее в Драгоценке.

Не задумываясь, словно давно ожидала услышать это, Анна с каким-то сладострастно-дерзким вызовом ответила ей, словно человеку, на которого затаила смертельную обиду:

– Но я бы уже не страдала! Верно ведь?

Смотрела на мать пристально, словно из темноты.

Та рывком притянула к себе ее голову, зашептала, словно убаюкивая:

– Тише-тише... Не нужно так. Ш-ш-ш...

– Я на него даже не обернулась, мама! Даже не обернулась... А он ждал. Я это знаю. Как же мне теперь жить? Скажи мне? – сухими губами запричитала в плечо матери Анна. – И зачем? Зачем жить? Кругом одна смерть...

* * *

Отец нашел поденную работу в порту, чему по-юношески был рад. Но уставал так, что не мог спрятать усталости за излишне бодрыми расспросами о том, как прошел их день, на полуслове засыпая прямо за столом, роняя плетьюми руки. К его приходу они накрывали колченогий стол скатертью, купленной у старьевщика и отстиранной в одолженном у китайки тазу, расставляли в мисках еду, стараясь подать ее погорячее. Иного, чтобы его подбодрить, придумать не могли.

* * *

...Молодой человек в костюме Арлекино с густо набеленным лицом, прижимая к груди руки в долгополых рукавах, грустно и страстно пел на русском языке о Луне и стоявшей на столе бутылке вина. Скрипка словно лезла в душу – звучала светло и грустно. Отчего Анне и улыбаться, и плакать хотелось одновременно. Скрипка, саксофон, рояль, пары за круглыми столиками с лампой под красным абажуром посередине... Клуб «Небесная радость» не безупречное заведение, но и не притон для моряков. Кроме того, именно в нем освободилось так необходимое Анне место.

Хозяин клуба, толстый китаец, напоминавший тюленя, с брезгливым выражением лица смотрел на Анну, словно выбирал завалившуюся вещь в лавке старьевщика. На хорошем английском начал:

– В этом месте наши клиенты должны забыть о мире с его проблемами. Буду платить по пять шанхайских долларов за вечер. Это очень хорошая сумма. Я выбираю девушек тщательно. В каждой должна быть тайна. Она в вас есть. Мои девушки не проститутки, но они должны позволять нашим гостям некоторую вольность. Вы понимаете меня? Если будут гладить во время танца спину, бедра – это входит в оплату ваших услуг. Но это не флотский бар – никакой вульгарности и грубости ни с вашей стороны, ни со стороны наших гостей мы не потерпим...

Арлекин закончил свою грустную песню, и его место на эстраде тут же заняла густо набеленная китаянка в платье из зеленого атласа. Необыкновенно тонким голосом под звуки саксофона она запела быстро и весело. Танцующие пары, до того грустившие под звуки танго, оживились.

Хозяин клуба, сделав Анне знак ждать, отошел к стойке бара, что-то приказал бармену на китайском – сердито, отрывисто, и тот подобострастно часто-часто стал ему кланяться, жалко при этом улыбаясь.

– Ваша работа заключается в том, чтобы с вами захотело танцевать как можно больше людей, – вернувшись к Анне, застывшей на месте и не знавшей, как быть – ждать или вовсе уйти, словно пришла не по адресу, продолжил владелец клуба. – Для этого они должны купить билет. Если наш гость дает вам билет, тогда танцуете. Если вам предложат выпить – вы можете только пригубить... Платье, что на вас, не годится для работы. В нем вы вызываете жалость...

Коротко стриженная маленького роста китаянка, не достающая до микрофона, встала на квадратную деревянную тумбу, которую привычным движением подставил ей под ноги один из оркестрантов. Разом погасла свисающая с потолка большая хрустальная люстра, напомнившая Анне сосульки, и оркестр вновь загрузил. Зал наполнился печальной, светлой мелодией и приглушенным светом ламп под красными абажурами. Маленькая певичка, совсем незаметная в полумраке, пела на французском о любви – грустно, проникновенно.

– Я знаю, что в вашей стране настоящий хаос – зло, недоверие, обман, ненависть, – хозяин клуба заговорил почти дружелюбно. – Но нас все это не должно беспокоить. Что еще. У вас должны быть друзья – опасные друзья. Тогда вас никто здесь не тронет, и у вас не будет неприятностей. Сначала вы будете под моей защитой...

Вновь резко отвернувшись от Анны, он сделал замечание белокурой высокой даме, танцевавшей с тучным господином, который пытался ее поцеловать, а та с застывшей на губах брезгливой улыбкой отворачивала от него лицо. Анна не поняла, чего хотел хозяин, делая замечание этой женщине, но обида за нее, за себя, стоявшую рядом и желающую получить точно такую же работу, тонкой острой трещиной прошла по Анне, странным образом ее укрепив. Желание уйти отсюда, исчезнуть истаяло. Чего миндальничать, когда в куске хлеба большая нужда? И еще на одном чувстве поймала себя – она рада, что получила эту работу.

Хозяин, повернувшись снова к ней, не меняя тона, каким делал замечание танцующей даме, уже уходя по своим важным делам, бросил через плечо:

– Завтра приходите, но не в этом платье...

* * *

Платье Анна нашла у скупщика – серое, изящное, с закрытой грудью, но с вызывающим вырезом на спине. Долго торговалась с продававшим подержанные вещи стариком, который уступил ей только тогда, когда понял, что у нее нет больше даже самой мелкой монеты.

Улочки, пугающие сгустившейся в углах темнотой, Анна одолела почти бегом, прижав к груди пакет с платьем. Она торопилась не от страха – хотелось как можно быстрее сообщить

родителям, что нашла работу. Ей было важно, как встретят они это известие. Дансинг-герлс, девушка для танцев – не проститутка, нет, это партнерша, которых называют еще, тоже очень обидно, такси-герлс... Не позор... Нет... Но половина его.

Большая половина...

Легче становилось от мысли, что не ей одной досталась такая судьба. Чтобы прокормить семьи, многие женщины предлагали себя не только для танца – на панели. Но большинство предпочитало голодные обмороки позору, продолжая надеяться на благополучный исход – многим ведь везло и здесь, в переполненном беженцами Шанхае. Особенно кадровым морским офицерам. Они устраивались просто блестяще. А тем, кто падал до панели, не подавали руки, не принимали в обществе.

Но падать в обмороки самой – совершенно иное, нежели смерть от голода близкого тебе человека. Визит смерти уничтожал надежду на счастливый случай, толкал женщин на улицы. И многие из них за счастье сочли бы место, только что полученное Анной.

Денег, заработанных отцом, едва хватало расплатиться за комнату и скудную еду. Европа, консульство – эти возможности были для них все еще недосыгаемы. Резко сдала мать – исхудавшая, почерневшая, она нуждалась в лучшем питании и в смене квартиры – не такой сырой и промозглой в сезон тайфунов и затяжных дождей. Анну пугало не только само ее недомогание, а смерти среди русских, много перенесших в революцию, гражданскую, здесь – в эмиграции. Их изношенные тела теряли крепость, надламывались, часто без всякого предупреждения – шел человек по улице и упал... Редкой была семья, у которой к страданиям на чужбине не добавились похороны. Так что выбора у нее не было. Да и когда он был, выбор? Были только обстоятельства, и только они диктовали им поступки.

Но все же она растеряла слова о том, какую нашла работу, как только увидела родителей. И решила – не скажет. Ни сейчас, ни позже. Обманет. Скажет, что будет мыть посуду в ресторане...

* * *

... Сначала трамвай, затем пешком несколько кварталов – и вот она – улица, где жизнь начинается только ночью. Прошла в распахнутые, словно для проветривания, двери клуба, мимо одетого во все белое грузного вышибалы, который смерил ее мрачным взглядом и отвернулся признав.

– Ни хао... – Анна робко поздоровалась с ним и вошла в пустой еще зал с тесной стайкой круглых столиков. На эстраде оркестранты уже рассаживались по местам, пробуя инструменты, наигрывая каждый себе мелодию. Русский, певший песню о вине и море в костюме Арлекина, а теперь сидевший за роялем в смокинге оркестранта, улыбнулся Анне ободряюще.

Беженцы узнавали друг друга безошибочно.

В примерной, длинной и узкой, как коридор гостиницы, все зеркала были заняты. Она остановилась в нерешительности, вглядываясь в лица, – ища и одновременно страшась встретить знакомых. Высокая белокурая дама, которой на глазах у Анны хозяин делал резкое замечание, увидев ее, встала от зеркала, жестом подзвал к себе. Представилась просто, с изяществом подавая руку, невольно этим выдавая свою породу:

– Екатерина.

Усадила Анну и, глядя на нее в зеркало, улыбнулась ей ободряюще-приветливо. Понимая, что Анне все внове, начала без обиняков:

– Клуб не притон. Но... Скажем так, не безупречное заведение. Ты обязана пудрить лицо, красить губы... В общем, выглядеть заманчиво. Если этого не можешь делать дома, должна приходиться сюда пораньше...

Говоря это, Екатерина ловко, умелыми движениями причесывала Анну, придумывая ей новую прическу. Вынула из своей сумочки гребень, высоко заколола волосы и, оглядев девушку, удовлетворенно улыбнулась:

– Гости хозяина могут быть всякие, но есть вышибалы для тех, кто путает заведение с притоном. Пить нельзя не потому, что не разрешается правилами клуба, а потому, что девушки очень быстро спиваются... Это ты должна уяснить себе обязательно.

Увидев в зеркало наполнившиеся тревогой глаза Анны, легко и длинно провела щеткой по ее уже причесанным волосам, словно погладила ладонью:

– Ничего. Мы выстоим.

Одной этой фразой необыкновенно подбодрив Анну.

* * *

– Вы говорите по-французски? Я так это и знал, – протягивал Анне билет на танец человек в дорогом костюме. – И вы русская, – не спрашивал, а точно указывал ее первый гость.

– Нас здесь много, – принизила степень прозорливости француза Анна.

– Дело не в том, что вас много, – он ловко повел ее в танце. – Я в состоянии оценить то, что вижу. В вас очарование, трагедия, усталость... В стране для вас нет места, и вот вы игрушка судьбы. Маленькая игрушка и даже очень красивая... Но в вашем случае красота ничего не меняет. Наоборот. Не только львы, но и гиены будут вокруг вашей красоты ходить и зубами щелкать... А это, знаете ли, очень опасно.

Он, запрокинув голову, весело рассмеялся своему сравнению.

Анне был досаден его смех и эта веселость. Хотелось ответить резко, вопросом: из какого разряда он – львов или гиен? Но ограничилась лишь фразой Екатерины:

– Ничего. Мы выстоим.

– О! Великолепный ответ! – француз, по-новому оглядывая Анну, даже приостановился. – А знаете ли вы, что у нас много общего. Французы после французской революции бежали в Россию. Русские после русской – во Францию. Не так уж и плохо. В конце концов, у каждого из нас оказалось две родины...

Песня закончилась, и француз, галантным поклоном головы поблагодарив Анну за танец, отвел ее к столику. На эстраде тут же произошла перемена и вместо набеленной китайки вышла та, маленького роста, под которую тотчас примостили деревянную подставку. Томная песня полилась почти на безупречном французском при выключенной центральной люстре.

– О! – воскликнул над головой Анны подающий ей новый билетик француз. – Я не мог не потанцевать с вами под эту песню. Иначе какой же я француз!

И, выйдя с ней на середину зала, беззаботно задышал ей в щеку.

Джон

Весна высветила небо нежной лазурью, подняла его высоко-высоко, поближе к Господу, нарядила улицы цветами магнолии. Мать кашляла, особенно по ночам, непрерывным злое-ще-тихим кашлем. В стылой, промозглой комнатке, в которую сырые ветры заглядывали через каждую щель, уповать на выздоровление не приходилось. Оставалось только лежать, глядя в темноту, и слушать. Анна порой ловила себя на том, что в самой глубине ее души рождается какой-то черный, мохнатый, злой зверек, который захватывает там все больше и больше пространства, наполняя ее глухим, злобным раздражением.

На что? На кого?

Да на все и всех сразу.

Как жить? Как быть? И где ты – не то что счастье, а просто покой и безопасность? Ну, прибыли они в этот город своей мечты, надеясь, что отсюда им будут открыты все пути. Но нет этих путей, по которым они могут уйти. Кто их примет, с нансеновским-то² паспортом, который, ко всему прочему, они еще не приобрели. Нет таких стран, чтобы светили им, как огни в ненастье. Теперь заветной, но такой же недостижимой мечтой стала возможность снять хорошую квартиру с отдельной комнатой для матери.

День за днем Шанхай, несмотря на все переживания и трудности, смог их обворожить, произвести впечатление – оглушил и ослепил многолюдьем, автомобилями, богатством витрин. Анне он понравился своей какой-то европейской мощью. Ее завораживал шелест шин, холодный бетон небоскребов, круговерть чужого житейского пира. Порой даже казалось, что вот-вот потерпят еще немного – и город приоткроет и им дверь в широкий мир, идти по которому и выбирать... Но и здесь среди людей было все так же, как на полустанках охваченной ненавистью и войной России, – никого никому не жаль.

Сколько порогов обила, тяжелых дверей пооткрывала! А все напрасно. Ничего не выжила, не выпросила. Осталась все той же девушкой для танцев...

* * *

Проходя мимо британского банка, у подножья высоких ступеней которого гордо восседали львы, Анна по привычке дотронулась до медных носов, отполированных до блеска тысячами прикосновений, в страстном желании привлечь к себе чуточку удачи. Она не то чтобы верила в эту примету – тереть нос скульптурам, но боялась пройти мимо и упустить, не использовать и ее, явно придуманную людьми с такой же незавидной, как и у нее, судьбой. Понимая собственную наивность, Анна, погладив львиный нос, успокаивалась, как человек до последнего испробовавший, до конца сделавший все, что мог. На этом проспекте, пожалуй, самом шикарном из всех проспектов города, она не пропустила ни единого магазина или конторы и теперь не знала, куда идти дальше. Медленно отошла от надменных львов и остановилась, пригвожденная к месту быстрой, словно молния, мыслью: не найду работы – погибну...

Погибну!

Это слово эхом отозвалось в ее замеревшей от страха душе.

Какой-то прохожий, шедший следом, наткнулся на нее, пробормотав что-то, то ли извиняясь, то ли досадуя, и быстрыми шагами ушел прочь. А она, ничего не видя вокруг, клялась самой себе, что отбросит в сторону свою робость, весь сладкий и липкий яд бесплодных мечтаний, оставит в прошлом надежды на счастье, которое, как ей жаждалось, должно было сва-

² Нансеновский паспорт – паспорт, выдаваемый Лигой наций, не давал прав на свободное передвижение между странами, его обладатели не могли претендовать на пособия.

литься ниоткуда на голову, – но добьется. Непременно добьется. Чего? Работы, денег, удачи! Иначе...

Она боялась закончить эту мысль. Иначе...

Иначе – волны чужого океана.

Она устала надеяться, что когда-нибудь что-то хорошее исполнится, придет, наступит. Устала жить в безысходной нищете, среди плача китайской детворы, среди ужасающих, особенно по утрам, запахов, когда золотарь собирает нечистоты в бочку на скрипящей на все лады тележке, устала пробираться по узким грязным улочкам, взбираться по навесной лестнице в съемную комнатку, устала от криков китайцев-разносчиков...

Так карабкаться ей дальше по этой жизни, царапаться – или лучше океан?

Анна медленно отошла в сторонку, чтобы не мешать спешащим по тротуару прохожим, встала под цветущей магнолией, от сладкого, густого запаха которой чувствительные барышни падают в обморок, и слушала себя, распутывая свои мысли, чтобы все, наконец, уяснилось в ее голове.

Будто впервые окинула взглядом город, живущий веселой, беззаботной, порочной жизнью, лучший его проспект... Там, где она работает, все столики заняты нарядно одетыми людьми – дельцами со всего света и коммерсантами, первое время до смешного напоминавшими Анне фигуры буржуев с плакатов, развешанных на полустанках России, – цепочка через толстый живот, обвислые щеки, тонкие ноги, заканчивающиеся огромными остроконечными блестящими лаком башмаками. Рядом с ними красивые женщины с губами в темно-красной помаде. Точно такой, какой и она однажды наредила свои губы перед выходом в зал. Тогда Екатерина, взглянув на нее, обронила:

– Верно подобрала. Мода предписывает нынче иметь грешные рты...

Грешные... И она стерла, почти соскребла помаду.

Грешные?

Теперь пусть будет так.

Если ее семья зависит от ее дохода, живет на ее заработок – она в семье первая. Ей нужен план – жесткий и неизменный, по которому она будет строить жизнь. И ни шагу не отступит.

* * *

...Отец встретил Анну, сидя на лестнице. Он уже не смотрел украдкой на ее руки, когда она возвращалась домой, поняв давно и окончательно, что не моет Анна в ночном клубе посуду, не отмывает засохшие на ней остатки еды, распаривая до красноты в горячей воде руки. Но спросить дочь напрямую о ее ночной работе еще не решался. Анна не обижалась, напротив, понимала и ценила то, что ее родители – люди старого воспитания. Они не отстали от установок новой свалившейся на них жизни – просто не желают, не хотят их ни замечать, ни признавать. Они блюдают правила порядочности и чести и лелеют мысль оказаться в Европе среди своих старых знакомых. А в их среде девушкам, которые позволили себе вольности, нет места. Если они извалялись в грязи, их больше никто не пустит в чистый, опрятный дом... Их принципы тверды, как алмаз, и так же чисты. Так что Анне объясниться с ними трудно. Да она и не пытается.

– Аню-ю-та... – протянул отец лениво-радостно, словно его не в меру разморило весеннее солнце, – мама ждет тебя...

Он медленно поднялся со ступенек, выщербленных ногами до округлости, пропуская вперед себя дочь. Анна по туману в глазах отца поняла, что ласковость его тона не только от солнечного припека. Вздрыгнуло и больно сжалось сердце – таким она видела отца только там, в Драгоценке, за столом с Василием Егоровичем... Но тотчас оборвала себя. Она теперь не оплакивает ничего в своей жизни.

И никого.

Решительно вздернула подбородок, приобняла отца, спросила ровным голосом:

– Папа, неужели вино? По какому случаю?

– Я, Аннушка, свой бокал молча выпил, чтобы мечта воплотилась...

– Что за мечта? – напряглась Анна, которая только что сама разобралась с собственными стремлениями к мечте и к новому лучшему будущему.

– На пристани познакомился с человеком, он нанимает русских в охрану богатому китайцу. Я попросился... Он обещал похлопотать...

Весь Шанхай знал и ценил русских за храбрость. И охотно брал в охрану. Богатые китайцы нанимали телохранителей именно из русских, особенно из бывших офицеров, зная, что те будут нести службу на совесть. Но ее отец не служил и не воевал, к тому же не молод. Кто возьмет его на хорошо оплачиваемую службу, когда боевые офицеры в ресторанах официантами устраиваются? Он не выдержал работы грузчика порта, куда ему в охрану?

– Папа, не говорите глупости, – глядя в обмякшее лицо отца, как неразумному ребенку, ласково выговорила Анна. – Какой из вас телохранитель? Если бы в контору служить или библиотеку... Там ваше место, но не в охране. Это и опасно, и невозможно для вас. Пойдемте, пойдемте, – поторопилась увести его с лестницы, на которой особенно густо несло чадом из кухни жильцов первого этажа. – У меня есть новость. Хорошая новость...

Отец смотрел на нее беспомощно и покорно.

Мать слышала их разговор и стояла в ожидании. Она давно не верила ни во что хорошее и, помимо повседневной нехитрой домашней работы, была занята разглядыванием своей жизни, своей в чем-то вины, каялась в совершенных, по ее мнению, страшных ошибках. Это, помимо ее ночного кашля, также тревожило Анну, с пугающей отчетливостью видевшую, что мать подводит черту, итог своей жизни, готовит себя к самому важному, что ждет человека в конце его земного пути. И, не выдержав внимания родителей, выпалила сходу:

– Мы переезжаем в квартиру. Хорошую квартиру, на русскую улицу – авеню Жоффр!

Она предполагала их реакцию – откуда? На какие средства? Как ты смогла их заработать? И не дала им времени эти вопросы задать. Сказала, что откладывала каждый доллар и накопила на задаток. Нафантазировала, совсем немножко, что хозяин клуба обещал уже сегодня дать ей работу билетерши, что с этого дня оплачивать жилье им будет по карману. Жилье не абы где, а на одной из самых красивых улиц Шанхая, которую русские называли Московской из-за большого количества на ней русских магазинов.

– Там не только вывески на русском, там и разговаривают на русском. Повсюду – и в магазинах, и в ресторанах. Да ко всему прочему там полно русских контор, и всякий день может принести отцу удачу... Наконец-то они не будут слышать постоянный галдеж китайской полуголой и грязной детворы, воплей дрянных фокусников, забредающих сюда... А будут слышать веселый звон трамваев и видеть вдаль, в просвете между высокими домами, полоску синего-синего моря в белых парусах шаланд...

– Ну, что? – отец, торжественно выпрямившись, уже держал в руках початую бутылку дешевенького мутного вина. – Уверен, дамы, вы не осудите... И этот бокал я пью молча!

* * *

Анна еще не привыкла окончательно, не смирилась с тем, что каждый вечер должна идти в клуб в то самое время, когда добропорядочным людям положено идти домой. Красить там губы, высоко поднимать волосы в немыслимую прическу, чтобы быть заметнее, привлекательнее других, и танцевать с тем, кто тебя выберет. Чем больше мужчин выберут, тем больше дохода от тебя владельцу клуба. Еще требуется, чтобы мужчина угостил выпивкой, для этого нужно просить его взять себе бутылку сидра, мол, очень душно, жарко, устала... И в этом слу-

чае он оплатит сидр, как бутылку шампанского. Если от тебя дохода нет – тебя выбросят, как ненужную ветошь.

Уже несколько раз сердитый администратор, глядя на нее, раздраженно растягивал пальцами свои губы в улыбке, давая понять, что он зол, что она должна быть приветливее с гостем. Но теперь она будет мила со всеми, даже с теми, кто будет пытаться вложить скрученные в трубочку деньги в ее декольте. Теперь она не откажется от этих денег, как не откажется от услуг вышибал, отдавая им часть этих купюр, чтобы они охраняли ее от притязаний клиента, сунувшего деньги. И завтра же пойдет на просмотр в ансамбль оперетты. Екатерина обронила, что одна из танцовщиц заболела и ей нужна замена. Да, она будет танцевать на сцене с голыми ногами канкан. Лишь бы платили. Лишь бы хватило денег на сухую квартиру. В нынешней, грязной и щелястой, грядущую зиму, когда беспрерывно дуют ветры, когда дожди льют целыми днями и по тротуарам воды по щиколотку, когда штукатурка с потолков обваливается от сырости, матери не пережить.

Да и ей тоже.

Анна всей душой старалась избегнуть кривого жизненного пути. При мысли о том, что она возьмет деньги за иную, чем танец, услугу, перед ней возникал образ Гордея – его глаза с солнечными искорками, его улыбка, его с трещинкой посередине губы – почти осязаемые, почти реальные. И тогда ей хотелось кричать в голос и бить такого обидчика по лицу. Со всей силы. Чтобы звук пощечины был громче льющейся с эстрады музыки, под которую они танцевали...

Теперь это должно остаться в прошлом. Теперь она – иная, но будет играть свою, только свою партию в этом, ей навязанном пасьянсе жизни. Она должна выиграть. Только нужно не отвлекаться от плана, иначе не удержать в своих руках капризную удачу. Улетит.

До клуба добиралась привычной дорогой, торжествуя в душе, что идет по ней в последний раз. Протиснулась сквозь лабиринт тесных темных улочек, пробежала по тротуару, на котором под навесом из грязной рогожи за столиками всегда сидели китайцы, склонившись над чашками с лапшой. Их громкое чавканье, шмыганье носом не были отвратительны Анне, но она старалась как можно быстрее проскочить мимо, чтобы избежать приставаний хозяина этого ресторанчика, хватавшего за руки всех без разбора прохожих, убеждая, что его лапша самая лучшая, и требуя ее съесть. Но еще более, чем приставания хозяина, пугал Анну протяжный вой нищего, всегда сидевшего рядом с этим ресторанчиком. В такт своему вою тот привлекал к себе внимание громким стуком по тротуару жестяной банкой. Согнувшись, сжавшись в комочек, прижав руки к груди, отчего ей казалось, что она становилась незаметнее, Анна старалась мышкой прошмыгнуть мимо, чтобы скорее завернуть за угол и оказаться на освещенной фонарями улице среди чистой публики. А там, выпрямившись, ловко лавируя между китайцами на лотосовых ножках, обутых в шелковые ботиночки, идущих неуверенно-медленно из-за крошечных ступней, более похожих на копытца, между китайскими служащими в синих кафтанах и черных шапочках, между европейцами в одинаковых светлых костюмах, добраться до остановки трамвая. Это было место, где можно перевести дух и стоять, не думая ни о чем, и смотреть, как на западе, прорезая серые облака красными лучами, медленно и торжественно садится солнце. И всем своим существом осознавать простую истину, что на этих улицах, среди шума, гама и суеты, она навсегда будет чужой.

Посторонней.

* * *

Анна успела вовремя. Только-только оркестр занял свое место на сцене и тяжело вздыхал, как чья-то больная грудь, пробуя инструменты.

Екатерины не было. Анна давно без ее помощи справлялась со своей прической, особый шик которой придавал подаренный Екатериной высокий гребень. И сама прическа, и этот гребень, подделка под драгоценность, делали ее лицо надменным, чарующе красивым. Нанесла помаду, тонко выписав очертание губ, и, немного подумав, обильно напудрила лицо, провела по щекам бархоткой с румянами. Теперь ее лицо напоминало лицо китайской фарфоровой куклы. Вышла в зал и, заняв место за столиком, замерла в ожидании клиентов. Она краем глаза заметила, как при ее появлении по лицу хозяина клуба скользнуло что-то, похожее на одобрение. Тот сразу понял, что Анна готова работать так, как ему нужно.

Она безошибочно определяла в этой разношерстной толпе озолотившихся на беженцах держателей ломбардов, коммивояжеров и дельцов со всего света, «своих» – русских. Будь это циничный спекулянт или кто-то из тех, «припрятавших», которые как под копирку говорили всегда об одном и том же – что надо непременно уезжать в Париж. Или вообще куда-нибудь. Но уезжать, уезжать...

Бывшие офицеры и голубая кровь – дворяне забредали в клуб гораздо реже. Последних выдавала приятная ловкость в обхождении, они знают, где и как себя держать, хотя и их отчасти переделала китайская действительность. Прежняя ловкость манер обрела какие-то нервные, вызывающие черты, но и при этом в них по-прежнему оставалось что-то хорошее, знакомое. У них тоже была одна общая тема разговора – русская трагедия, крушение Белого дела. Некоторые из них, ужасаясь этому крушению, превративших их из бывших принцев в разбойников, заняты были философским объяснением происшедшего или перелицовкой своей горечи в смех.

Но редко кому это удавалось.

Из них ее особенно поразил один молоденький, тоненький, хлебнувший войны юнкер. Быстро хмелея, он произносил на разные лады одно и то же, глядя своими остановившимися глазами куда-то в дальнюю даль:

– Поход, бой, вши... Бой, вши, поход... Вши, поход, бой...

Она ничем не могла ему помочь, кроме как отвести за руку к его столику и усадить на стул...

Человек с поседелыми висками, подсевший к ней с тремя билетиками на танцы, был как раз из павших принцев. Анна безошибочно это определила и, когда он, взглянув ей прямо в глаза, сказал на французском: «Вы пленительны. Вы вызываете восторг», ответила ему на русском тихо и непривычно томно:

– Благодарю вас...

Она была с ним ласкова и задушевна, скорее, покорна и уступчива и грустна той романтической грустью, которая могла тронуть любого мужчину. Он еще не начал откровение, а она уже чувствовала, что и ее новый незнакомец готов заплакать об утраченном счастье и о том – несбыточном и далеком...

– Китай, китайцы и китайщина надоели и опостытели до последней возможности... – легко лавируя в танце под французскую песнь о любви, заговорил так и не представившийся Анне человек. – Да, я многое видел и многое понял. Я видел, как зло стало всеобщим. Разумеется, время для изображения нашей трагедии во всем ее объеме, так сказать, с журавлиной высоты, еще не наступило. Я люблю Россию всю: с дворцами и хатами, богатыми и бедными... Ибо все нужны. Как нужны корни, ствол, листья... и цветы... А Белое дело погибло... Начатое почти святыми, оно перешло в руки почти бандитов. Я это видел... Не могу забыть, как почтенный полковой батюшка в больших калошах и с зонтиком в руках бегал по деревне за грабящими население солдатами:

– Не тронь!.. Зачем!.. Не тронь, говорю... Оставь! Грех, говорю... Брось!

Куры, утки и белые гуси разлетались во все стороны, за ними бежали «белые» солдаты, за солдатами батюшка с белой бородой...

Анне была понятна эта боль и горечь человека, пережившего много больше, чем она сама. Ей приходилось слышать нечто похожее от других забредших в клуб бывших офицеров, сумевших добежать до Шанхая в поисках места, где можно спастись от гибели. В этих людях боль и горечь, которую они теперь, чтобы не сойти с ума, прятали за кривой ухмылкой, поселилась навсегда. Но она и без того была полна своей болью и горечью. Да и что Анна могла им сказать, чтобы утешить? Разве они не знают того, что она им скажет? Теперь вот этот.

Но Анна не пустит в свое сердце ничьей боли, у нее оно закрыто крепко-накрепко.

Даже для своей.

Три танца прошли, человек с поседелыми висками поцеловал ей руку, виновато взглянув в глаза:

– Простите великодушно, что пришлось вам столько выслушать от меня... Но душа отказывается принимать, что не будет ни черемухи весной, ни катания на санях, ни колокольного звона на Пасху...

В ответ Анна лишь присела в вежливом реверансе и с чарующей обворожительностью приняла билетки на танец от молодого брызжущего здоровьем американского морского пехотинца.

Солдаты Америки были в Шанхае небожителями, которым все сходило с рук. Самые шумные, самые наглые. Ходят стаями, щелкают, не закрывая рта, серой и задираются ко всем, кто им не понравится. Рядом с ними всякому становилось тесно. И девушек для танца они выбирали, подходя вплотную, разглядывая в упор, ничуть не смущаясь. И танцевали, не переставая жевать серу, бесцеремонно поглаживая спину и бедра девушек. Но управляющий давал знак вытолкать их только тогда, когда те принимались ломать стулья или затевали драку. Все остальное терпели, не трогали, даже если те напивались допьяна и начинали орать песни, заглушая порой оркестр. И все потому, что американцы охотно шуршали долларами.

Япония заняла Маньчжурию. Большие американские капиталы нуждались в охране, и американских солдат в Шанхае разом появилось очень много. Между ними находились и те, кто решался здесь на женитьбу. Анна слышала, как в гримерной девушки обсуждали, что если найти американца, то можно не работать. Еще лучше, чтобы женился, чтобы американский паспорт получить. И что за американца гораздо лучше выйти замуж, чем за голландца или француза...

Выбравший Анну американец не жевал серу, не щелкал ею прямо в лицо, чему Анна слегка удивилась. Веселый, голубоглазый, с выгоревшим до пшеничного цвета чубом, выглядывавшим из-под пилотки, он танцевал, не позволяя себе никаких поглаживаний. Его движения были легки и изящны. Анна взглянула на него с интересом. Заметив ее взгляд, солдат, словно ожидая от нее нечто подобное, с готовностью ответил:

– Я не всегда носил форму. Я посещал школу танцев у нас в Алабаме... Вы знаете, где Алабама? Ну конечно, в Америке. А вы знаете, как красива моя Алабама? А не хотели бы вы взглянуть на нее? Хотите? Тогда выходите за меня замуж, и мы, как только закончится война, поедем ко мне, в Алабаму...

Он говорил быстро, нервно-весело, не ожидая от Анны ответов, при этом настойчиво заглядывая ей в глаза. А добившись ее улыбки, заулыбался радостно, так по-ребячьи открыто, что Анна искренне рассмеялась.

– Как хорошо вы смеетесь... Я бы слушал ваш смех всю жизнь, если бы не моя форма, я бы от вас никуда не ушел. И я хочу, чтобы мы завтра пошли в американское консульство и заключили там с вами брак. Подумайте, это гораздо лучше, быть женой американского солдата, получать за него пенсию, пособия – это нужно будет там уточнить, – а не танцевать в таких местах, где вас всякий может обидеть... За один американский доллар в Шанхае многое можно купить... Соглашайтесь...

Анна развеселилась окончательно:

– Только увидели и сразу зовете замуж. Взгляните, здесь много девушек. Почему меня?

– Не буду скрывать, я очень взволнован, но уверяю, я могу оценить то, что вижу. Это необъяснимо, как это иногда бывает с людьми... Удар молнии или что-то похожее на это... Вы произвели на меня почти электрическое очарование. Да! Так было. И я пришел сюда второй раз, чтобы забыть обо всем мире с его горем и проблемами, а только еще раз посмотреть на вас и просить вашей руки.

Анна совершенно растерялась и, стараясь вернуть американцу благоразумие, перестала улыбаться:

– Очень мило с вашей стороны, что вы выбрали меня, но разве брак терпит суету? Как можно говорить с вами о браке, если мы даже имен наших не знаем?

– Это просто исправить, я – Джон. А ваше имя... Нет, нет, не говорите! Позвольте, я угадаю, – потянул паузу, лукаво поглядывая на Анну:

– Ана! Ваше имя Ана!

– Не Ана, а Анна! – вновь развеселила Анну ребячья непосредственность американца.

– Я буду стараться правильно произносить ваше имя. Как сделал бы это русский человек. Вот видите, я знаю, что вы русская...

Танец закончился, но Джон не отпускал ее руки:

– Вы рассмотрите мое предложение?

– Простите, – пыталась высвободить свою руку Анна, – нет смысла продолжать этот разговор. И это не самое подходящее место и время для него...

– Подходящее! – с горячностью воскликнул Джон. – Самое подходящее... другого времени и другого шанса у меня не будет...

В зале приглушили люстры, и на сцену вышла китаянка с нежным, почти неземным голосом, слушать которую в клуб приходили специально. Она запела что-то нестерпимо жалостливое своим тонким голоском. От ее песни, от плача скрипки и саксофона Анне стало так горестно, так одиноко, что защемило сердце. Взглянув на Джона, она увидела, что он плачет, не скрывая слез. И не выдержала. Прикоснулась к его руке:

– Я буду завтра утром у вашего консульства...

Консульство

Это было новое каменное здание в самом центре города, напоминающее собой первоклассный отель, однако своим мрачноватым колоритом оно отличалось от белых экстракрасавцев для богатой публики. Оно притягивало и манило не внешним видом, а тем, что относилось к тому типу зданий, которые обычный прохожий может осмотреть только снаружи, вход в которые для праздных зевак запрещен.

Джон ее ждал. Анна шла на встречу с ним, будучи уверенной, что его не увидит в назначенное время и в оговоренном месте. Солдат проспится и не вспомнит о своих ночных слезах и обещаниях. Шла, чтобы с чувством человека, давшего слово и сдержавшего его, вернуться домой. А увидев Джона, радостно подбежавшего к ней и восхищенно заглядывавшего в глаза, растерялась.

– Я боялся... Да-да! Очень боялся, что ты, А-ана-а, не придешь... – ее имя он произнес неправильно по-русски, но так любовно, так восхищенно, что Анна даже приостановилась, сбита с толку.

– Джон, я пришла, потому что дала вам слово. Но я не единственная русская девушка в Шанхае, вы можете найти здесь себе жену, даже не приглашая ее в консульство...

– У нас совсем мало времени, и я хочу не другую девушку, я хочу, чтобы только вы были моей женой и ждали меня... Молились за меня... Чтобы молились...

* * *

Обширное фойе, меблированное местными расставленными вдоль стен креслами и тяжелыми даже на вид диванами перед широким окном с кустом с резными широкими листьями в обитой для надежности кованым обручем кадке, было наполнено солнечным светом. Все кресла были заняты людьми, в большинстве своем по облику деловыми, но встречались и военные, и солдаты, как Джон. И тоже с девушками.

Джон усадил ее на диван, и Анна, чувствуя себя героиней водевиля, до конца не зная, как ей быть, не находила в себе отваги подняться и уйти.

Джон нервничал, он оглядывался по сторонам, часто вставал и подходил к секретарю и, наклонившись низко к его столу, просил о чем-то, уговаривал. Но добился только того, что секретарь громко, чтобы слышно было всем, объявил, что консул примет лишь тех, кому был назначен прием, что список посетителей консула расписан на несколько дней вперед и прочим лучше удалиться...

И тут случилось совсем неожиданное. Джон схватил Анну за руку и, не обращая внимания на секретаря и на замеревших в удивлении присутствующих с вытянувшимися как по команде лицами, решительно направился к плотно закрытым высоким дверям кабинета консула. Анна, словно на привязи, едва за ним поспевала, не имея ни малейшего понятия, что выйдет из всей этой истории. Секретарь с его малым ростом и слишком рыхлым, раздавшимся телом не мог всерьез воспрепятствовать энергичному напору Джона, только подпрыгивал перед ним, растопырив руки.

Когда за ними захлопнулась дверь, Анна испытала ощущение, будто мимо нее промчалась машина, шумно и неожиданно, едва не сбив с ног. Внутри у нее все досадливо сжалось, воспротивилось. Она понимала всю нелепость ситуации, участницей которой неожиданно для себя оказалась. Но быстрая смена событий не давала ей никакой возможности каким-нибудь образом повлиять на происходящее.

Консулом оказался немолодой человек в круглых очках и с черной как смоль аккуратной ухоженной бородкой. При неожиданном появлении на пороге своего кабинета Джона с Анной

ничто не изменилось в его лице, он лишь привстал из-за стола, прервав разговор с тремя господами в строгих темных костюмах, и молча смотрел, ожидая объяснений.

– Господин консул, – отдав честь, резко начал Джон. – Вечером наша часть покидает Шанхай. Меня отпустили только до трех часов полудня. Поэтому я не могу сделать запись у вашего секретаря, чтобы дождаться своей очереди. Я хочу жениться сегодня, сейчас...

– О! – рассмеялся консул. – Вы воевали? Конечно... Чувствуется умение ходить в атаку... Сегодня Америка надеется на таких солдат, как вы, и я готов выполнить ваше желание. Что я могу для вас сделать?

Его веселость сразу подхватили и трое господ, сидевших до того онемевшими истуканами. Все как по команде заулыбались, переглядываясь друг с другом, согласно кивая на слова консула.

Анне хотелось только одного – уйти, исчезнуть, оказаться в другом месте. А Джон, наоборот, жадно рванулся ближе к консулу:

– Вы должны сделать запись в книге. Официальную запись, что мы муж и жена, чтобы моя жена могла получать помощь от Америки, в то время когда я буду за нее воевать...

Консул взглянул на секретаря, с виноватым видом замеревшего у двери, сделал знак рукой, чтобы тот подошел ближе:

– Возьмите документы у молодых людей. На их основании сделайте запись в журнале и принесите мне на подпись. Своей подписью и данной мне властью я скреплю этот союз. Мы должны любить наших героев и уважать их желание, ведь они проливают кровь за Америку...

Джон торопливо вытащил из нагрудного кармана документ, поощрительным взглядом пригласил и Анну сделать то же самое.

– У меня нет паспорта.

В комнате наступила тишина. Все взгляды устремились на Анну.

– Ну, – первым пришел в себя консул, – тогда дайте то, что у вас есть... Любую бумагу, которая бы могла подтвердить вашу персону...

– У меня нет ничего. Мою личность могут подтвердить только мои родители... Мы беженцы... Мы потеряли все, даже документы, а новых не приобрели...

К Анне вернулось спокойствие. Она понимала значительность того, что происходило вокруг. Но ничуть не кривила душой. В Шанхае никто не спрашивал паспорта, и в этом городе никто не нарушал право человека работать без паспорта или умереть в придорожной канаве. Называйся князем, графом, хоть королем африканским, если цвет кожи позволяет это сделать, – были бы деньги. Живи в любом фешенебельном отеле, бери себе звание профессора, под любым именем тебя зарегистрируют и под ним ты войдешь в список проживающих людей. Потревожат только в случае, если не сможешь заплатить за проживание. Об этом все знали и не удивились словам Анны.

– Мы сделали для вас все, что могли, – вышел из-за стола консул. – Но я не могу нарушить законы Америки в угоду даже герою Америки. Пусть ваша невеста получит сначала нансеновский паспорт, как я понимаю, она русская, и, когда вы вернетесь из воинской командировки, мы по закону оформим вашу семью...

Его голос звучал участливо, проникновенно. Говоря о том, что он не может нарушить священный закон Америки, голос его дрогнул, и он вытянулся, как перед флагом, когда слушают гимн. И Джон на это не мог ничего ему возразить.

Анна чувствовала себя виноватой:

– Поверьте, Джон, моим паспортом, как только мы оказались в Китае, служила мне моя кожа. Я как русская не могла пользоваться никакими привилегиями, которыми пользуются европейцы, но моя белая кожа защищала меня, чтобы быть осужденной по китайским законам...

Джон уже справился с постигшим его разочарованием. Он смотрел на Анну каким-то ласковым, но уже отстраненным взглядом.

– Я так хотел тебе помочь... И я так хотел, чтобы ты меня ждала... Но, когда я снова окажусь в Шанхае, у тебя должен быть паспорт, и тогда ты станешь и американкой, и моей женой...

* * *

После переезда в хорошую квартиру родители заметно оживились. Прошло всего ничего, а кашель матери звучал уже не столь обреченно. Отец, тяготясь бездействием и тем, что не может заработать денег, принялся всякий день делать обход по конторам и магазинам, а заодно учиться китайскому языку, словно это могло ему в чем-то помочь. Ни мать, ни Анна ему не перечили – какое-никакое, а это занятие. Сам отец, понимая никчемность своих усилий, себе в оправдание повторял одно и то же:

– Правильно говорят китайцы: знаешь один язык – проживаешь одну жизнь, знаешь два языка – проживаешь две жизни... Хотя... Я знаю французский, а проживаю только свою горькую русскую жизнь...

Мать с каким-то остервенением отмыла и оттерла все, что могла, не давая Анне помочь ей в этом. Наконец-то в их жилище поселился некоторый уют. И как-то утром, когда Анна спала особенно ясным сном, мать нетерпеливо разбудила ее:

– Я только из церкви, к кресту приложилась и не могла не заплакать... Живем, как на огне горим... Владыка Иоанн³ сказал, что хорошо бы тебе прийти и поговорить с ним...

Анна заметила некоторую суетливую неловкость матери в словах, в жестах. Она понимала ее: мать боялась того, что из-за них, родителей, тяжелым грузом легших на плечи дочери, Анна может потерять самое себя, пасть на дно, куда уже никто не протянет руки. Отвернулась к стене. Ей захотелось закричать на мать, чтобы она наконец-то перестала ее мучить. Да что бы они делали? Что бы придумали, когда бы Анна не приносила денег? Но сказала тихо, почти ласково:

– Мама, я не делаю ничего дурного...

– Я отчего-то растерялась, засуетилась, подходя под благословение, – продолжила мать, словно не слышала слов Анны, – и почувствовала, будто я нахожусь в каком-то темном душном помещении... Но он только поднял руку, сделал в воздухе крестное знамение – и мне словно открылась дверь вместе со светом... Сходи, доченька, к нему, он подскажет, он поможет...

Анна слышала об отце Иоанне, о его самоотверженности среди русских шанхайцев ходили легенды. И еще слышала, что он может тюкнуть крестом по губам, если видит, что они накрашены, а если кто из женщин, даже в жару, явится в храм с оголенными руками, то к кресту не допустит, поднимет его перед голорукой прихожанкой высоко вверх.

Не отвечая матери, она лежала, некоторое время разглядывая стену. К чему куда-то идти? Теперь Анна точно знает и ясно видит жизнь. Теперь ее не мучает прошлое, и она примирилась с настоящим. Так что не станет отнимать драгоценное время у священника, к которому из страждущих выстраивается длинная очередь. Сегодня она, наконец-то, пойдет на просмотр в ансамбль оперетты. Екатерина замолвила знакомой даме за нее словечко. И если ее возьмут, и если там плата выше, то с дансинг герлс она покончит навсегда...

³ Владыка Иоанн – Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. В 1994 году Русской православной церковью за границей прославленный в лике чтимых ею святых как один из величайших подвижников православия XX века, молитвенника за всех страждущих и нуждающихся, защитника и пастыря оказавшихся вдали от многострадальной Родины.

* * *

Когда Анна добралась до отеля, в просторном, величественном зале которого на большой сцене русские организовали театр, было уже за полдень. Наступило время фокстрота, чарльстона, коротких платьев и короткой стрижки. Анна побаивалась, что ей предложат избавиться от ее длинных волос. И сама улыбнулась этой мысли – о том, что не умеет танцевать модные танцы, не беспокоится, а потерять свои длинные волосы страшится.

– Вы танцуете па-дэ-ша? – окинув Анну быстрым взглядом с головы до ног, спросила ожидавшая ее гранд-дама. И, не дожидаясь ответа, взяв Анну за руку, закружила ее на одном месте. Не удовлетворившись этим, отступив от нее на шаг, предложила:

– Покружитесь так, словно вы кружитесь перед зеркалом в новом платье... Так. Хорошо... А теперь станьте на носочки... Нет. Нет. Не так... Снимите обувь и по стойте на кончиках пальцев... Так. Понятно. Приподнимите подол... Повыше... К сожалению, вы не можете быть приняты в группу. Вам, прежде чем танцевать, нужно еще научиться сохранять равновесие, стоя на кончиках пальцев. Но я могу вас подбодрить – у вас прекрасный овал лица, божественная фигура, врожденная грация. Вы можете попробовать устроиться в кабаре и там стоять за стойкой бара. Заработок вполне приличный.

И увидев, что ее отказ ошеломил Анну, миролюбиво добавила:

– Право, в наше время ничем не стоит пренебрегать. А выучить названия дринок⁴, уверена, вам труда не составит.

Анна заторопилась сказать, что будет стараться быстро все выучить и что у нее в детстве были хорошие задатки к танцам, и они никуда не исчезли. Она с упрямым упорством убеждала, удерживая уходящую от нее гранд-даму, надеясь переменить ее решение. Дама остановила ее легким движением руки и еще более примирительно добавила:

– Я вижу, вы смутились и расстроились. Поймите, мы принимаем в труппу балерин. Тех, кто годами учился искусству танца. Нынче многие перебрались в Шанхай, в этот Восточный Париж, из Харбина. Там, вы должны были это слышать, произошло избиение русских. Вы бывали в Харбине? Нет? А я там жила... Да... Закончился русский Харбин, где говорили по-русски, строили православные церкви, а улицы называли так красиво, так трогательно – Цветочная, Владивостокская, Торговая... Теперь на смену «здравствуйте» пришло японское «конничива», а вместо «спасибо» – «аригато». И русских балерин теперь можно встретить даже в ночных портовых кабаках, и их жизнь ничуть не похожа на беспечную... Так что я ничем не могу вам помочь... Вы можете еще, конечно, если повезет, устроиться, как я уже говорила, барменшей, как их называют, баргерлс, и брать уроки танцев по утрам. Данные ваши к этому располагают, а пока... Прошу извинить.

Какие уроки танцев, когда Анна должна будет скрывать все от родителей? Да и где взять на это деньги? Их едва хватает, чтобы выжить, а впереди еще и плата за квартиру...

Слезы хлынули сами собой, под стать осеннему шанхайскому ливню, – обильные и внезапные. Анна шла, не думая о том, плачет она или смеется, повторяя про себя, словно играя в рулетку, строчки из понравившегося ей стихотворения местной поэтессы:

Я боюсь перестать смеяться, чтобы вновь не услышать боль...

Я боюсь перестать смеяться, чтобы вновь не услышать боль...

Смеяться. Смеяться. Чтобы не было больно. Она не свернет с намеченного пути. Ни слез, ни жалости – ни к себе, ни к другим.

⁴ Дринк (англ. drink – дословно «напиток») – алкогольный коктейль.

Анна решительно вытерла глаза и, экономя на трамвае, пошла в клуб пешком, не слыша гама прохожих и брани рикш. В такт шагам в висках стучало: «...*боюсь перестать смеяться...*» Она шла, изредка взглядывая на запад, где в багровых лучах медленно угасало солнце.

Там Россия. О ней она уже почти не помнила. Да и кто ждал ее там, кто печалился? Нет таких.

В церковь Анна, к своему стыду, после того как стала работать в ночном клубе, не заходила вовсе. Но теперь в ее жизни все так запуталось. Она только-только наметила для себя выход и тотчас его потеряла. Ясно вспомнив утренние слова матери о ее походе в церковь к отцу Иоанну, о полученном ею там душевном облегчении, неожиданно для себя круто изменила маршрут.

Дверь ей открыла монахиня.

– Владыка болен, но подождите, я спрошу – примет ли он...

Монахиня ушла, и Анна, вдруг оробев, собралась уже тихонько сойти с крыльца, когда монахиня вернулась и удержала ее:

– Он велел зайти...

Отец Иоанн сидел в большом кресле, служившем ему и постелью. Немного привстав ей навстречу, усадил рядом на стул. С таким отчаянием, с таким мужеством откровения поведала ему Анна о всех своих тяготах и невзгодах, о надеждах и падениях, что и сама от себя такого не ожидала. Замолчала, боясь взглянуть священнику в глаза, – не оттолкнет ли за малодушие, не изругает за непослушание, не ткнет ли и ее крестом, как тех, кто хочет приложиться накрашенными губами... Но его сумрачное лицо осветилось мягкой улыбкой. Погладил Анну по склоненной голове:

– Сколько скорбей, сколько боли вокруг. Всем этим мир как бы воюет против человека, и, если человек не имеет веры Христовой, мир сокрушает, побеждает его. У меня нет лекарства от всех скорбей, я не могу его дать, как пилюлю доктор. Скорбь людская тяжела, но есть Божье Слово, оно есть утешение...

Вздыхнул и, словно утомившись, прикрыл глаза слабой, почти детской рукой:

– Поверь, дитя, я знаю, как тяжело быть молодой и одинокой...

И это его душевное участие, а особенно последние слова невероятным образом добавили сердцу Анны чувство покоя, хотя ничуть не подсказали, как ей быть с выплатой за квартиру, из которой ни в коем случае нельзя съезжать, чтобы окончательно не подорвать здоровье матери. И весь путь от дома священника до ночного клуба, в который безнадежно опоздала, Анна старалась не растерять этого чувства.

Когда Анна вошла в зал, на сцене Арлекино пел песню русских беженцев о розовом море, над которым вставала Луна. К ней тотчас подошел хозяин клуба, еще более, чем прежде, напомнивший девушке тюленя. Глядя, словно выбирал заваливающую вещь в лавке старьевщика, он резко и пренебрежительно предупредил, для большей убедительности энергично выставив перед лицом Анны указательный палец:

– Если ты еще раз опоздаешь, то вышвырну тебя. Ты поняла?

Анна согласно кивнула и, не переодеваясь, поспешила занять место за столиком рядом с Екатериной, сидевшей в ожидании клиента. Но поговорить не удалось: Екатерину выбрал толстый господин в белом костюме и с усами, словно нарисованными над губой тонкой, острой полосочкой. Понимая, что без положенного грима и вечернего платья она не может рассчитывать на успех у клиентов, Анна сидела в ожидании хотя бы одного билетика, который спасет ее от гнева хозяина и позволит на короткое время отлучиться в гримерную. А получила целых четыре, сложенных веером и небрежно брошенных перед нею на стол, от человека, пристально глядевшего на нее из дальнего конца зала и всякий раз ей улыбавшегося, когда она поворачивала в его сторону лицо.

– Вы меня не узнали? Нет? О! Разве это возможно? Так обидно! А я так ждал этой встречи...

Замечательный французский дорогой костюм.

– Отчего же, я вас помню. Вы француз, который не был бы французом, если бы не танцевал со мной под французскую песню.

– О-о! – слишком громко и слишком восторженно закричал француз. Так громко, что танцующие рядом пары начали оглядываться. Заметив это, француз немного сбавил тон:

– А я помню все... И ваши печальные детские губы, и ваши глаза...

Говоря все это, он не переставал улыбаться и внимательно вглядываться в лицо Анны, стараясь поймать ее взгляд.

– Он вас обидел? Хотите, я вызову его на дуэль?

Веселый и беззаботный француз показывал Анне кивком головы на хозяина.

– Что вы, этого никак нельзя допустить, – неожиданно радостно для самой себя ответила ему Анна. – Я не переживу вашей гибели, ведь наш хозяин отличный стрелок...

– Тогда давайте танцевать, а Лео Дюпонт к вашим услугам всегда будет, даже после того, когда его прибудет ваш хозяин...

Это было необъяснимо, но после таких слов Анне показалось, что она знала этого французца всю жизнь.

И ждала его.

Только его.

* * *

В этот вечер Лео никому не позволил танцевать с ней, оплатив все танцы. Она была ласкова с ним, тиха, но смотрела на него весело, даже задорно.

Была глухая ночь, когда закрывался клуб. Ряды глянцевых автомобилей на тротуаре перед клубом заметно поредели. Но на остановке трамвая еще было немало людей, подвыпивших и праздных. Несмотря на поздний час, где-то неподалеку пела китайская флейта, и звук ее был жалобен и тягуч. Лео ни на минуту не замолкал и не отставал от Анны. Она была ему благодарна за этот вечер, за то, что он спас ее от гнева хозяина, потратив на билетки большую сумму и выкупив несколько бутылок сидра по цене шампанского... Но по-прежнему до конца не понимала его настойчивости и тяготилась этим.

– Посмотрите на небо, – развлекал ее француз. – Луна стоит на небе так высоко, как вы, русские, возносите в своих домах икону. Но ей холодно. Она прекрасна, но ей холодно. Как и вам, Анна. – И, видя ее смятение, чувствуя, что она не может понять, к чему эти его слова, добавил: – Одному холодно, а вдвоем гораздо теплее. Я хочу, чтобы вы всегда были рядом со мной...

Его слова совершенно сбили Анну с толку. Второй раз подряд и без всякого перерыва с ней происходят почти немыслимые вещи – незнакомые мужчины зовут в жены, едва увидев ее. Она смогла только произнести, что совершенно его не знает и что он, Лео, имя которого она только сегодня услышала, не знает ее. Тут она вспомнила, что уже говорила эти самые слова Джону. И почувствовала себя уставшей от этой игры судьбы, повторяющей эту историю.

– А мне нет нужды вас знать более, чем я вас знаю, чтобы быть уверенным в том, что я вас люблю. Да, меня можно упрекнуть в легкомыслии, но ведь я француз, а француз без легкомыслия – это уже не француз, а... – брезгливо поморщился, – сухой англичанин. Но мое чувство к вам не может быть легкомыслием... Мое чувство к вам – это восторг...

– Это сначала восторг, а потом все становится сложно, беспокойно... – совершенно растерялась и даже нахмурилась Анна, чувствуя себя, словно в дурном сне, где все неправда, все понарошку.

– В моей жизни нет места сложностям, и я вам не дам беспокоиться ни о чем, только скажите «да», – француз встал перед Анной на одно колено у всех на виду, не заботясь ни об устремленных на них взглядах, ни о раздавшихся пьяных возгласах одобрения и аплодисментах, ни о том, испачкает ли он свои дорогие брюки о грязный тротуар.

И Анна, глядя на коленопреклоненного француза, холодно подумала, что если это действительно так, то придет конец ее волнениям по поводу оплаты квартиры на улице Жоффр...

Неожиданно из-за поворота с визгом выскочил трамвай. Этот так вовремя появившийся и высекающий колесами искры трамвай для Анны был как спасение. Ее ошеломили и собственная расчетливость, и театральность происходящего. Она тяготилась французом, желая поскорее остаться одной. Анна вскочила на подножку трамвая, отъезжая, взмахнула Лео, как в театре на прощание, рукой, потом глядела в окно трамвая на мужчину, стоявшего на опустевшей остановке, до конца не понимая случившегося.

Что это было? Обман? Сон, мираж?

Или это ей долгожданная плата за украденное у ее семьи счастье?

На чужом черном небе таяли звезды, когда трамвай со звоном примчал ее к прямой, как стрела, авеню Жоффр, освещенной электрическими фонарями и разукрашенной яркими витринами, и, высадив, помчал дальше. Здесь все благополучно, и незачем отцу ее встречать. На этой улице у них премиленькая сухая квартирка, плата за которую лишила ее сна. Но, может быть, теперь ей не будет больно жить, и она сможет обрести покой...

Сердце ее стучало ровно и деловито. Анне показалось, что что-то солнечное, чистое и счастливое ждало ее впереди. Засыпая, подумала, что в этом – чистом и счастливом – она непременно разберется завтра.

Свадьба

– Да, смейтесь, смейтесь... А я решил, что мне пора песенки петь... Какие? А вот какие: нужда пляшет, нужда скачет... Нужда песенку поет... Работы нет, и никто не желает твоему старому отцу ее дать...

Отец стал напоминать Анне ее деда. Она порой опускала глаза, столь разительно было это сходство. Словно вместо отца перед нею вставал дед, каким был в далеком зимнем лиловеющем вечере – встречающий их во дворе дома, мягко заваленного сугробами снега. В ее воспоминаниях простодушное лицо деда со светлой бородой всегда виделось в окружении высоких сугробов и желтых одуванчиков фонарей по обе стороны улицы. Анна любила это воспоминание и помнила, что испытывала пугливую радость, волшебный страх, когда дед крепко и сильно подбрасывал ее вверх, приговаривая что-то радостное, счастливое...

Его, ее любимого деда, они спешно похоронили на одном из полустанков разграбленной гражданской войной России. Названия того полустанка никто из них толком не разубрал, не запомнил. Да она и не хотела помнить об этом, как и обо всем другом, что они пережили. Анна не хотела, чтобы ее мучили картины прошлого. Но постаревший облик отца остро напоминал ей об этом.

– И действительно... – мать, разливая чай в разномастные пиалы, снисходительно улыбалась отцу. – Не кажется ли тебе, мой друг, что эти твои страдания, когда мы живы и здоровы и находимся в полной безопасности, когда дочь сняла нам приличную квартиру, немножко смешными? Нам, добежавшим сюда, теперь угрожает не смерть, а только две психологические муки – когда кому-то из нас грозит тяжкая болезнь или смертельная опасность... А нищета, нужда – это уже не столь важно...

– Разве я могу с тобой спорить? – отец, низко пригнувшись к столу, отхлебнул горячего чаю. – Но все-таки неважной нищета может быть, если есть своя крыша над головой и кусок хлеба. А в нашем положении мы о куске хлеба только и говорим, им заняты, а не тем, чтобы добиваться визы в консульстве Франции. На что совершенно нет средств... А еще мука в том, что чем ближе к Рождеству, тем тоскливее на душе... Время идет, скоро старость, а ты не видишь никакой возможности вернуться на Родину... Отчего всякий международный сброд, который помогал развалить, разграбить мою страну, живет на моей Родине, а я – русский человек должен заканчивать свои дни с народом, с которым не имею и не найду, как ни буду стараться, ничего общего? Разве это не абсурд? Разве это не нелепо?

За окном было безлюдно и тихо. Анне, занятой своими мыслями, казалось, что притих и весь мир. И она не желала нарушать эту тишину, вступая в разговор.

– И до чего мы дожили, – продолжал отец, с наслаждением намазывая тонкий слой масла на кусок хлеба, – вчерашние герои войны собираются у благотворительных кухонь и стоят в очереди с мисочками, а лично я могу рассчитывать только на работу на бойне – кишки таскать...

Отец не нуждался в ответах на свои вопросы, и никто их не мог ему дать. Но это не мешало ему повторять их всякое утро. Наконец, заговорили о погоде, о климате, совершенно нездоровом, просто губительном для русского человека. В этом они были единогласны, и каждый находил нужные слова, ответы и аргументы.

На улице поднимался ветер, предвестник сезона ливней, и в стекло окна жалобно застучали резные листья тропической пальмы. Анна не знала, как скоротать время до работы. Такое с ней было впервые. Она не думала ни о Лео, ни о сказанных им словах, но наполнилась какой-то тягучей пустотой, которая поможет ей встретить любое известие, что принесет ей день, без надрыва и смущенья. И когда мать, вооружившись корзинкой, собралась на базар, Анна стремительно вызвалась идти с ней вместо отца.

С непривычки от густых запахов сырого мяса, рыбы и еще чего-то непонятного, но чрезвычайно неприятного, в сторону которого Анна и взглянуть боялась, у нее закружилась голова. А еще слякоть на полу, невообразимый шум от выкриков продавцов и общего гула людской массы, окровавленные свиные ноги, утки в клетках, связки капусты на бамбуковых коромыслах, звон колокольчика торговца, развозившего на тележке целую кухню – плиту на угольях, плоски и чайники, – все вокруг: это уныние, грязь и хаос. И всюду вездесущая рыба вонь...

Мать, оберегая Анну, стремилась провести ее между рядами побыстрее. И все же они шли медленно, стараясь не поскользнуться на мокром полу. Мать уже ориентировалась в этом человеческом муравейнике – с какого хода войти, чтобы легче выбраться, где обманывают, где дешевле, где хорошие овощи. При виде матери один торговец резко и смачно плюнул ей под ноги, своим видом и энергичным кивком головы давая понять, как он к ней относится.

– Ничего, дорогая, – мать обернулась к Анне, – я не дала как-то одному господину купить у него рыбы, в которую он для веса подсыпает песок, оттого что он жулик, с тех пор он меня так встречает...

Наконец, они выбрали рыбу. Мать, явно подражая кому-то, скорее всего тому, кто когда-то впервые провел ее по этому муравейнику, долго переключивала рыбу с места на место, недовольно морщась, внимательно разглядывая жабры, и продавец, в конце концов, немного сбавил цену.

* * *

Отец встретил их на половине пути, подхватил корзину с рыбой:

– Вышел вас встретить, вижу – господин, из наших, ищет кого-то. Говорю ему, если вы в контору по найму комнат, то вам направо, потом в переулочек... Он поблагодарил и спрашивает: играю ли я в маджан⁵? И говорит, чтобы я непременно этому учился. Но я не о том... В Шанхае беженцев со всего мира, как крыс. Власти совершенно не знают, что с нами делать. Мужчины не могут содержать свои семьи. Их уделом стала безработица, незалеченные раны и горькие сожаления о пропавшей России. Дети занимаются попрошайничеством и воровством. Так вот, этот господин узнал, что власти учредили Бюро по русским делам и отправили телеграмму в Австралию с просьбой принять нас. Надо надеяться, что из этой затеи что-нибудь выйдет... Скоро и здесь не будет спасения – японцы захватывают север, в самом Китае идет гражданская война – красные коммунисты против националистов... Нам вновь нужно бежать... Неужели мы обречены бегать, пока не потеряем жизнь?

Отец был взволнован полученным известием, но мать, бесцельно оглядывая улицу, успокоила:

– Бежать так бежать... Но к чему такие крайности? Ты только что сказал, что учреждено Бюро по русским делам. Нужно надеяться, что все будет хорошо. Все должно быть хорошо...

* * *

Екатерина была готова к выходу в зал, но задержалась, увидев Анну:

– Ты помнишь, когда сюда пришла, за этим столиком причесывалась Лили? Я тебе о ней говорила, что ее тетка бывшая фрейлина? Не помню точно, но у нее какая-то длинная фамилия... Ты должна помнить Лили! Милая Лили...

Анна не могла до конца понять грусти Екатерины и ее настойчивости. Конечно, она помнила эту девушку, сидевшую рядом с ней за примерным столиком, которая как-то призналась,

⁵ Маджан – распространенная на Дальнем Востоке китайская игра, род домино.

что всякий раз плачет, стоит ей только услышать русскую речь или увидеть на картинке русские пейзажи...

– Я увидела ее только несколько минут назад, – заметно было, что Екатерина взволнована. – Она стояла на углу... И я видела, как к ней подъехал педикаб⁶ и Лили, поговорив о чем-то с сидевшим в педикабе человеком, села к нему... Когда трамвай тронулся, я увидела, это был толстый китаец в европейском костюме... Ты знаешь, что это значит...

Бедная Лили. Анна тотчас припомнила, что она была единственная, кто отваживался отказывать в танце не понравившимся ей клиентам. И еще вспомнила, что у нее было слабое здоровье, она чаще всех снимала обувь – знак того, что устала и не может больше танцевать. У нее тяжело заболел муж, потребовались деньги на его лечение, и Лили ушла танцовщицей в кабаре, где ей обещали платить больше... Бедная Лили... Она не выдержала борьбы за существование, она оказалась в тупике. Ничем не помочь, и ничего не исправить! Разве что при случайной встрече, чтобы лишний раз не ранить, сделать вид, что не узнаешь ее.

* * *

– Ну, что твой француз? Он вчера не дал никому приблизиться к тебе! – Екатерина резко сменила тему.

Анна уже успела заколоть волосы и очертить помадой губы:

– Кажется, он предложил мне руку... – взглянула на Екатерину почти умоляюще. – Но я не знаю, как быть, если это не шутка с его стороны. Мне кажется, что мне даже станет легче, если все это и окажется шуткой.

Екатерина положила руки ей на плечи, взглянула близко в глаза, легонько встряхнула:

– Глупенькая... Беги к нему не раздумывая. Оглянись вокруг... Другое такое заведение, как наш клуб, в Шанхае редко отыщешь. Он экстра-класса. Здесь нет той грязи и унижения, что в других подобных заведениях, но мы не знаем, что с нами будет завтра. У нас нет ни денег, ни страны, а положение хуже некуда. Так что если он позовет – беги и не оглядывайся...

* * *

Вокруг за столиками сидели праздные люди, у которых, кроме денег, другой жажды в жизни не было. Этой жаждой живет весь великий Шанхай – город-торговец, город-спекулянт, озабоченный только тем, чтобы повыгоднее продать товар, честь, имя и подешевле купить сырье, дом, выгодную невесту... И если, даст Бог, француз позовет с собой, то она с удовольствием покинет этот город. Город смут и тревог, до краев наполненный русской болью и страданиями.

Бар с его рядами разномастных бутылок с яркими этикетками, блеском зеркал и золоченым божком удачи на верхней полке излучал благополучие. Жизнь в клубе шла привычным ходом. Коммивояжеры курили сигары, густо пуская дым, разговаривали о скачках, ставках и игре в бридж. Рядом с ними томно смеялись напомаженные дамы, оживленно щебеча о платьях, маникюрах и еще о чем-то легком, веселом, несложном. Американские солдаты, не в меру расшумевшиеся, сопротивлялись вышибалам, и когда последним удалось их вытолкнуть, еще долго кричали свои песни возле клуба, задираясь к прохожим и мешая чистой публике припарковать автомобили. Но и они смолкли. Возле столика толстый господин, проводивший после танца Екатерину, смачно целовал ей руку...

⁶ Педикаб – велорикша, трехколесный велосипед с коляской.

Анну выбрал худосочно-длинный в желтом шелковом пиджаке англичанин, который, даже говоря ей комплименты, не менял брезгливого выражения лица. Здесь, в Шанхае, англичане наравне с американцами считались хозяевами, следом шли французы, итальянцы. Они живут по своим законам, ничуть не подчиняясь китайской власти. Они баловни судьбы, а русские – ее пасынки. Про русских ходит столько небьлиц, столько несуразностей, которых не ввали ни про одну европейскую страну. Порой Анна отказывалась верить услышанному – русские едят свечи и пьют водку из самовара, у них по улицам бродят медведи и поедают детей, мужчины разбойники и вероломны, а женщины развращены. Вероятно поглядывая на Анну, англичанин выяснял ее степень распушенности и никак не мог в этом определиться. Наконец, изрек:

– Какое очаровательное лицо. К нему идет цвет вашего платья...

В распахнутую в ночь дверь было видно, что пошел дождь, и налетевший ветер, словно теннисист ракеткой, забил пригоршню капель в дверной проем. И Анне захотелось выбраться из духоты клуба и долго идти навстречу дождю и ветру... Несмотря на то что она не приняла слов Лео как истину, все же ловила себя на том, что чаще обычного бросает взгляды на посетителей, всякий раз ожидая среди них увидеть улыбающееся лицо француза. Но на комплимент англичанина ответила, как и полагалось отвечать, любезно, с поощряющей улыбкой:

– Благодарю. Здесь очень жарко, не хотите ли вы выпить?

Лицо англичанина стало высокомерным до окаменелости, и он сделался глухим и немым, предпочитая дальнейшему с Анной разговору молчание.

* * *

... Сначала Анна увидела букет цветов. За ним, за этим невозможно праздничным белым букетом, лицо Лео. Он шел к ней, нисколько не церемонясь с присутствующей публикой, заставляя танцующие танго пары спешно сторониться. Ни на секунду не замешкавшись, Лео втиснул букет между англичанином и Анной:

– Вы мне не говорили, но я знаю, что вы тяготитесь вашим положением. Я все приготовил. Я забираю тебя. И если хочешь, я вновь готов стать перед тобой на колени!

Нелепое, неожиданное, восхитительное счастье. Анна спрятала свое ослепшее от счастливых слез лицо в букете, вдохнула в себя такой густой, такой сладкий аромат цветов и, стараясь удержаться от близких рыданий, прошептала:

– Не хочу...

Англичанин возвышался над ними нелепой желтой каланчой и был не в силах понять, что происходит.

* * *

... Отец выглядел растерянным и торжественным одновременно. Смотрел поочередно то на Лео, то на Анну, бокал вина в его руках дрожал:

– Мое богатство сгорело в огне революции, но я давно перестал роптать о том. Господь мне оставил большее, чем потеряно, – дочь. Это самое сокровенное мое богатство. Но пришло время с ней расставаться... Я не ропщу. Я рад. Я полон надежд на ее счастье...

На небе смеялось солнце, и, казалось, ветер доносил до них со стороны океана слабый запах цветущей черемухи...

* * *

Венчались в православном соборе. Лео было все равно, где и как будет проходить обряд, и в этом его легкомыслии Анна чувствовала в себе зарождение какой-то обиды, словно для него происходящее не имело большого смысла, словно это не навсегда, временно, понарошку... Но во время таинства Лео выглядел торжественным и был взволнован.

Когда мужчины пили коньяк и за разговорами забыли о них, мать, медленно и торжественно прекрестив, поцеловала Анну в лоб и оглядела ее ласково и всепонимающе:

– Нас небо бережет. Вот пришло и к тебе счастье...

Анне не хотелось никаких слов. К чему? Все, что с ними случилось, никто не сможет облечь в слова. В ней впервые, словно в шампанском, запузырилось праздничное настроение, и она боялась, что вот сейчас мать напомнит ей, как была права, что увезла ее из Драгоценки. А потом, как всегда, вспомнит о старшей сестре, которую она отпустила когда-то давным-давно на одном из полустанков России, разрешив ей следовать за женихом. И все это испортит, помешает рождению праздника в ее душе.

Но нет, мать замолчала и не нарушила хрупкого нежданного счастья Анны.

* * *

Когда Лео повез ее в свой дом, был ранний час. Но тротуары были уже полны людей. Осеннее прохладное время заставило рикш надеть ватные куртки и стеганные штаны. Рикши неслись по улице, словно играя в перегонки, ловко обгоняя приостанавливающие на поворотах автобусы и авто, в котором были Анна с Лео. На тротуарах, каждый на свой лад, вопили мальчишки, продавая газеты. И белые господа в дорогих пальто время от времени подзывали их к себе ленивым взмахом руки.

Анна чувствовала себя, как освободившаяся из плена царевна, которую долго держали взаперти в высокой каменной башне, и вот неожиданно она на воле, и перед нею целый свободный океан. И даже небо над ними было не таким, как всегда, – бледно-голубым с молочным оттенком, а непривычным – высоким и розовым.

– Будет война. В Китае настоящий хаос, японцы захватили север... А в Шанхае жизнь по-прежнему безмятежна – скачки, ночные бары... Но уезжать отсюда нужно как можно скорее... Война и сюда придет, – глядя на особенную суету разносчиков газет, словно в задумчивости, заговорил Лео. И, уловив удивление и страх в глазах Анны, с улыбкой добавил:

– В газетах сегодня большие новости именно об этом. Жаль, что не о нашем венчании. Но я и без газет знаю, что Япония скоро будет здесь. Говорю это как человек, у которого мать наполовину японка. А что нас в это время здесь уже не будет – обещаю тебе, как истинный француз!

Лео снимал дом на те несколько месяцев, которые проводил в Шанхае, – окна с витражами, ковры на полу, резная мебель, статуэтки из красного дерева, ванная в бело-лиловом кафеле, внутренний дворик под стеклянной крышей с уютно стоящими вокруг низкого круглого столика плетеными креслами. Эта роскошь поначалу смутила Анну. Но к хорошему гораздо быстрее привыкать, чем к плохому. Вскоре ей привычными стали улыбки и приторная вежливость приказчиков в длинных халатах, ловко разматывающих перед нею рулоны шелка, неуловимым движением надрезая невесомую ткань, и ласковый и нежный звук ее разрыва. Она теперь спала на шелковых подушках, раскинув руки, до самого обеда, пока ама⁷

⁷ Ама – женская прислуга, китаянка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.